ПАРИЖАНКА В ТУНДРЕ

Астрид ВЕНДЛАНДТ

«О чём бы ни писала в своей книге Астрид – о шахтёрах Воркуты, узниках лагерей ГУЛАГа, о кочевой жизни ненцев, о красоте природы Крайнего Севера, – всё это проникнуто чувством щемящей любви к России».

Сергей Ястржембский

Астрид Вендландт – франко-канадка, живёт в Париже, работает в агентстве «Рейтер». В 90-е годы работала в газетах «Moscow Times» и «Financial Times» в Москве и Лондоне. Имеет диплом бакалавра по политологии и русскому языку университета Макгилла.

В этом году в издательстве АСТ вышла книга Астрид Вендландт «На краю света», в которой она описывает своё путешествие на север России, жизнь среди оленеводов и особенности уникальной культуры северных народов.

– Астрид, как у Вас, француженки, парижанки, возникла мысль о путешествиях на север России?

– В 2001 году я была корреспондентом «Fashion Times» в Москве, меня послали в Воркуту делать репортаж о шахтёрах, которые уже год не получали зарплаты и выживали за счёт «тормозков» с бутербродами, которые им выдавали вместо денег. Когда мы ехали на встречу с ними, проезжали через тундру (это было в марте), всё кругом было белое, небо и земля слились, возникло ощущение, будто мы движемся через космос. Вездеход вдруг резко остановился, и я увидела человека, пересекающего дорогу на упряжке, – такое я могла бы увидеть и тысячу лет назад. Он словно пришёл из ниоткуда и исчез в никуда. Я спросила у сопровождающих: кто это был? И мне ответили, что это ненец. Мне сказали, что они жили здесь с самого начала и продолжают жить так же, как и сто лет назад, и русские по сравнению с ними – просто туристы на этой земле.

Я испытала шок, потому что северные народы Канады – инуиты, давно поддались влиянию цивилизации: они смотрят телевизор, их дети играют в приставки, и они давно не кочуют, забыв культуру предков. Я подумала: как же так? Почему в России у ненцев всё осталось, как прежде? Почему цивилизация их не изменила? Я обещала себе вернуться, чтобы объяснить, почему в Канаде случилось так, а в России – иначе. То есть первый раз я поехала в тундру с журналистскими целями, задалась целью.

– Вы были на севере России и своими глазами наблюдали и культуру ненцев, и активность Газпрома, который на данный момент ведёт разработки крупнейших газовых месторождений. Как Вы считаете, какое будущее ждёт ненцев в связи с этими разработками?

– Ненцы – очень гордые люди, и они не собираются бросать свои занятия, хотя разработки Газпрома сокращают пастбища, необходимые для оленей. Этот процесс начался раньше, ещё с советской власти. Я разговаривала с ненцем, который жаловался, что нынешние олени худые и слабые, а в детстве, он помнит, они были сильные и здоровые. Я думаю, что угроза есть, но пока что ненцы справляются. Но им не нравится то, что происходит. Ненцы считают, что находятся в середине мира. Над ними – семь уровней небес, где живут хорошие духи. А под зем-

МИР СЕВЕРА

№ 5-6 (77), 2011

Этнополитический и литературно-художественный журнал

Учредитель:
редакция газеты «Литературная Россия»

Главный редактор
Вячеслав ОГРЫЗКО

Заместитель главного редактора
Виктор КАШЛЕВ

Редакционный совет:
Еремей АЙПИН (Ханты-Мансийск),
Михаил АНДРЕЕВ (Томск),
Андрей БОРИСОВ (Якутск),
Галина БУТЫРЕВА (Сыктывкар),
Александр ВАЩЕНКО (Москва),
Людмила ЕФРЕМОВА (Надым),
Николай КУРИЛОВ (Якутск),
Татьяна МОЛДАНОВА (Ханты-Мансийск),
Анатолий ОМЕЛЬЧУК (Тюмень)

Компьютерный набор
Татьяна ЕГОРОВА

Вёрстка
Алексей СЕМУШИН

Корректор
Светлана ШИШАГИНА

На 1-й стр. фото Павла ЖДАНОВА

Подписано в печать 24 декабря 2011 года.

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати. Свидетельство о регистрации № 015849 от 14 марта 1997 года.

Тираж 1200 экз.

Адрес редакции:
127051, Москва,
Цветной бульвар, 32, строение 3.

Телефоны: 694-23-24, 694-03-65,
Факс: 694-50-10

E-mail: litrossia@litrossia.ru

Отпечатано в ОАО «Щербинская типография»
117623, Москва, ул. Типографская, д. 10.

Тел.: 659-23-27
Заказ

СОДЕРЖАНИЕ

Путешествия

1 **Астрид ВЕНДЛАНДТ**
Парижанка в тундре

Реквием

6 **Борис ЧЕРНЫХ**
Отче наш

Встречь солнцу

16 **Яков СОЛОДКИН**
Был ли Ермак сибирским татарином?

Взгляд из Сибири

19 **Василий АФОНИН**
Прощание славян

Параллели

22 **Николай СИПИН**
Таёжная библиотека

Русский рок

25 **Михаил АНДРЕЕВ**
Дождь Ревякина, который лечит раны

Последний поклон

26 **Валентин КУРБАТОВ**
Пока Земля ещё вертится

Версии

29 **Алексей КОРОВАШКО**
Что искали немцы в Антарктиде

Неизвестный Борис Рыжий

32 **Алексей МЕЛЬНИКОВ**
Борю, конечно, споили

След в жизни

43 **Михаил ПЕТРОВ**
Вспомним, чтобы
снова забыть...

Драматические судьбы

Вячеслав ОГРЫЗКО
Поклон народам Севера

50 1. Через предательство
и покаяние

56 2. Создатель кетской
письменности

60 3. Этнограф с маузером

На грани исчезновения

67 **Иван ГОБЗЕВ**
Селькупские сказания

Рассказ

70 **Юрий ПАХОМОВ**
Зажигалка

Драма

74 **Инна РОСТОВЦЕВА**
По берегу самопознания

Проза

77 **Владимир ТИМАКОВ**
Берингов пролив

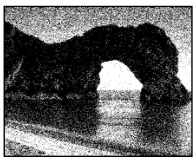


Фото: Алексей Леонтьев

Пётр Хамзаров (кеты).
Пейзаж.

лёй – семь уровней, населённых злыми духами. Газпром будит злых духов, ранит землю, и наружу выходят беды и болезни.

– Наверное, чтобы узнать это, Вам удалось встретиться с шаманами? Как Вы вообще расцениваете шаманское искусство: это мистика, особый дар, культурный пласт?

– Это не мистика, шаманы – самые первые человеческие врачи. Наша медицина – это совершенно новые знания, древними знаниями как раз обладают шаманы. У каждого из них свой дар. Кто-то общается с мёртвыми, кто-то лечит болезни, кто-то может найти потерявшегося человека или оленя. Они врачуют не только тело, шаман – это врач души. Самые сильные шаманы могут делать всё. Но их почти не осталось. Шаманы обладали настолько большим авторитетом, что составляли угрозу советской власти. И поэтому их всех расстреляли, уничтожив знания о древних рецептах, обрядах и традициях. Нынешние шаманы обладают даром, но не умеют им воспользоваться, потому что их некому обучать. Они до сих пор прячутся. Мне удалось встретиться с одним шаманом, но с большим трудом. Я притворялась заболевшей, говорила, что у меня большая проблема, надеясь, что мне посоветуют обратиться к шаману. Но этого не случилось. Расстрелы и смерти слишком свежи в воспоминаниях ненцев. Они не доверяют русским, а уж тем более иностранцам. Встретившись с настоящим шаманом, я, опытный журналист, не знала, о чём его спросить. Но мне кажется, что он обо мне всё знал и так. Это было видно по глазам. После встречи с ним я поняла, что в мире должна оставаться тайна, которую не следует пытаться разгадать.

– То есть Вы считаете, что в полной мере культура шаманства невосстановима?

– Многие ненцы чувствуют в себе дар, но боятся его развивать. Их история прошла совсем недавно, о расстрелах рассказывали матери и бабушки, они не хотят повторения. Также они боятся отдавать своих детей в школу, помня об интернатах, куда их забирали из семей и дома, пытаясь вырастить поколение, забывшее свои корни и культуру. Хотя нельзя сказать, что во влиянии советской власти были только минусы. Благодаря образованию многие ненцы стали известными писателями и поэтами. Есть знаменитая ненка Анастасия Лапсуи – известный режиссёр, фильмы которой популярны во Франции. Она родилась в тундре и попала в интернат, где получила образование. У неё интересная история – её мать не могла забеременеть и обратилась к шаману. И он пообещал ей рождение девочки, с условием, что она станет Невестой Небес (то есть никогда не выйдет замуж). Анастасия долго не выходила замуж, но в итоге нарушила обет, данный шаману. Сейчас живёт со своим мужем в Хельсинки. Советская власть дала ей шанс покинуть тундру и начать жить другой жизнью.

Деятельность Газпрома – это тоже не сплошной минус для ненцев. На деньги, вырученные за газ, можно будет построить для ненцев школы и больницы.

– Скажите, ваша поездка к оленеводам, которая поначалу являлась только журналистским расследованием, а позже стала причиной появления на свет художественной книги – единственной художественной книги об этом регионе, – лично вам что эта поездка дала?

– Очень многое. Теперь я словно стала другим человеком. Я познакомилась с настоящими людьми, настоящими мужчинами и женщинами. В городах мы живём сумасшедшей жизнью. Мы все общаемся через экраны. Вслушайтесь: айпад, айфон. «Я» – культ индивидуализма. Мы смотрим только на себя, заботимся только о себе. В тундре, если ты будешь думать только о себе, ты не выживешь. Ты должен заботиться о других. Помогать им. Быть частью клана. Ненцы не задумываются о том, кто они, и в чём смысл жизни. Они живут по-другому и уверены в своём месте на этой земле.

– Как прошло Ваше возвращение из тундры в мир французского гламура?

– Ужасно прошло: я чувствовала депрессию, чувствовала, что я совершенно одинока, я отвыкла от индивидуализма и скучала по Северу.

– Вы пять лет прожили в России и вернулись сюда сейчас, что-то изменилось в России за это время?

– Да, я прожила здесь пять лет в девяностых. И тогда люди жили скромно, поэтому много помогали друг другу. Были даже немного похожи на ненцев. Сейчас в России случилось то, к чему Запад шёл постепенно: материализм и индивидуализм в России появились очень быстро, всего за десяток лет, и потому очень заметен и выглядят преувеличенными.

– Как Ваши родные и близкие отнеслись к Вашему решению путешествовать по северу России?

– Мои подруги очень переживали и волновались за меня. Потому что, представьте: они летом на отдых едут в Сан-Тропе, а я в Воркуту. Сильно переживал мой папа, но он никогда не пытался мне запрещать. И в своей книге я поблагодарила его за это.

– Как вам пришла в голову идея написать о ваших путешествиях книгу? Вы вели путевые заметки или писали их после?

– Я вела дневник, и, что интересно, в первые три недели ни ручки, ни карандаши у меня не писали. Мне показалось, что духи Севера недовольны моим желанием написать о нём. И только через три недели у меня начало получаться вести записи. Навер-

ное, духи одобрили меня, посмотрели, что я хороший человек, и разрешили мне писать.

– Север России действительно не курорт... Вам довелось многое пережить. Расскажите об особо запомнившихся трудных моментах.

– Был незабываемый момент: мы с моим спутником Владимиром, бывшим афганцем, который постоянно пил, встретились с путешествующими мужем и женой, которые взяли нас в свой вездеход. Мы поехали по тундре, и вот под утро женщина вдруг закричала на меня: выходи отсюда! Мне пришлось покинуть вездеход. Владимир вышел следом, и мы оказались с ним посреди тундры, не зная, куда идти и где мы находимся. В тундре очень густые белые туманы: за пятьдесят метров уже ничего не видно, мы пошли практически наугад. Владимир ругался на меня. Я поняла, что мне не стоило разговаривать с мужем этой женщины. Владимир сказал мне: теперь ты знаешь, что такое ревнивая ненка.

Нам повезло. Мы вышли к железной дороге, построенной ещё при советской власти, и сделали то, что называется «стоп-поезд». Это как остановить такси, только останавливается поезд. В кабине машиниста мы доехали почти до города. Машинист попросил нас выйти заранее, чтобы начальство не ругало его за то, что он таксует на поезде. Когда мы дошли до города, случилась вторая неприятность: мой спутник, который должен был помогать мне в моих путешествиях, сильно на меня разозлился за что-то и начал бить. Он ударил меня по спине, и я упала на асфальт. У меня было два варианта: либо пытаться сопротивляться, либо бежать. Я выбрала второй, потому что помнила, что в России иностранец всегда виноват. Я побежала, и мне удалось остановить какую-то машину. Так я рассталась со своим спутником. Потом русские женщины сказали мне, что Владимир, как мужчина, просто не выдержал того, что он в подчинении у женщины.

Но несмотря на такие моменты, я всё-таки считаю Север местом моей силы, там словно открыты двери в параллельные миры. Там скрыто то, о чём люди давно забыли. И мне очень нравится это ощущать.

– Значит, вы планируете вернуться туда ещё раз?

– Да, я планировала, но неожиданно стала персоной нон-грата. Сначала мне говорили: «Приезжайте, приезжайте», а теперь говорят «нет». Вице-губернатор сказал: «Она не знает нашей политики». Конечно, я не знаю вашей политики. Но я в неё и не вмешивалась. Нормальных причин для отказа нет. Они даже сказали однажды, что отказывают мне в посещении, потому что им не прислали вышедшие книги. Но это неправда. Я точно знаю, что туда привозили около ста книг. Я первая иностранка, которая написала об этом регионе художественную, а не этнографическую книгу. Я думала, они будут рады. А получилось наоборот. Почему-то им не надо этого.

– Собираетесь ли вы ещё писать о России, и если да, то какие у вас творческие планы на этот счёт?

– В прошлом году, в июне, я путешествовала по Уралу. У меня было две задачи. Первая – я хотела разыскать человека, с которым была знакома пятнадцать лет назад. Я хотела узнать, как он живёт. Не стал ли он алкоголиком, не сошёл ли с ума? Вторая задача – изучить Урал, ведь это очень мистическое место. Там проходит граница между Азией и Европой. Мне хотелось посмотреть, где же начинается или заканчивается Европа. На этот счёт много споров. Ещё я думала, что на Урале, в горах, смогу найти народы, спрятавшиеся от цивилизации. Ведь это горы, там легко спрятаться. Я думала: вдруг Урал населяет кто-то вроде ненцев на Севере, кто-то, кто сохранил уникальную культуру.

Вместо древних народов я нашла там новую «цивилизацию». Эти люди – последователи идей, изложенных в книге В.Мегре «Анастасия – шаманка сибирской тайги». Они ушли из городов, взяли себе по гектару земли и живут там, не имея ничего из благ цивилизации. Это тоже было очень интересно. И об этом я собираюсь написать в своей следующей книге – о путешествиях по Уралу.

Беседу вела
Евгения МЕЛЕМИНА

Борис ЧЕРНЫХ

Ваня Гутя

В нижнем ряду четвёртый справа насупленный Ваня Черных. А в верхнем ряду пятая справа Гутя Самсонова, в сарафанчике. Судьба сведёт их через 12 лет.

Вначале я хочу показать редчайшие фотокадры из 1910 года. На ступенях Албазинской церковно-приходской школы мальчики и девочки вместе со своим учителем. Белыми кругами я обозначил Ваню Черных и Гутю Самсонову. Ни Гутя, ни Ваня не догадываются, что судьба сведёт их в союз навеки, но век окажется коротким, всего двадцать лет.

* * *

В июне 1927 года в станице Албазинской, самой старой на Амуре, внезапно взят опричниками Иван Черных, потомственный казак.

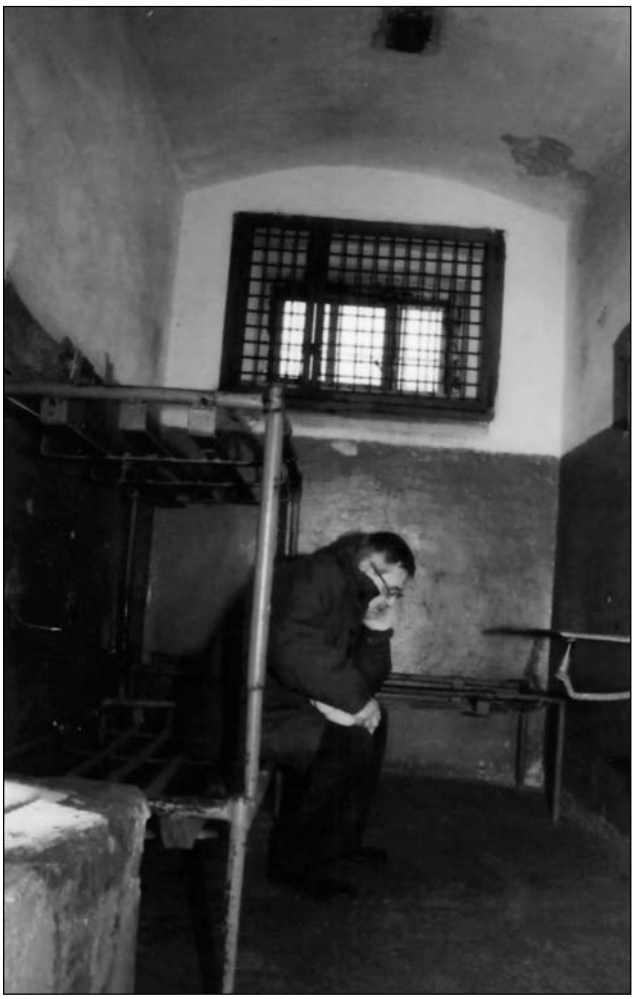
* * *

Ничто не предвещало ареста. Гражданская смута в России и на Дальнем Востоке унялась. Мужики (бывшие из казачьего сословия) землепашествовали. Иван тоже втянулся в домашние заботы. У него и у Гути народилось трое детишек: два мальчика – Гена и Вадик – и дочь Гера, соответственно 4, 3, 2 лет. Грибочки. На усадьбе ржали кони, не верховые, рабочие. Мычали коровы. На заимке метались в загоне овцы. Заимку Иван не забросил. Каждую весну поднимал 15 десятин земли. Стало быть, не отняли ещё землю.

Оставалась открытой граница с Китаем. Албазинцы косили на правом берегу, травы там стояли сочные.

Дома у Ивана за хозяйку оставалась Гутя. Она лишь годом младше мужа. Гутя охотно рожала и празднично нянькалась с малышами. Ей помогала баба Груня, мать. Баба Груня несла домашние тяготы тоже в удовольствие. Сама-то Груня нарожала шестерых девок – старшей была Пелагея, за ней шла Гутя.

Дом полная чаша. Ванечка любит Гутю, Гутя любит Ванечку. Но горесть точит молодую семью. Отец Вани, Дмитрий Лаврентьевич, не принял Октябрьской революции и ушёл на чужой берег. Там вырыл тёплый блиндаж, жил одиноко. Приятели-китайцы хаживали к нему на затуран. Это байховый чай, солёный, с молоком. Где они брали молоко? На русской стороне, куда совершал вылазки Георгиевский кавалер. Но не только за молоком ходил Дмитрий Лаврентьевич. Его притягивали внуки и внучка. И Гутя ходила в любимицах у деда Дмитрия. Старый казак не единожды говорил сыну: «Кабы мне досталась в молодости Гутя. О-о!» На эти «О-о» Ваня улыбчиво отмалчивался. У Ванечки житейская программа была простая: поднять деток, буде ещё народятся. Никак не менее десяти. Поднять, затем во главе рода ходить по станице, выбирая невест и женихов. При том Ваня холил Гутю, и чем далее, тем всё сильнее понимал, что она отвоевала его, зная одну цель – чем далее, тем преданнее любить Ванечку, единственного, ненаглядного.



Но жизнь на Амуре неумолимо сползала в никуда. Сначала скоропостижно помер Василий Яковлевич Самсонов, Гутин отец, а Грунин муж. Повод казался ничтожным. Василия Самсонова, бывшего станичного атамана, вызвали в сельсовет, и сказали бывшие сотоварищи:

– Василий Яковлевич, стадо у тебя великое. Нам кажется, ты заездил девок. Они заместо казаков у тебя. И пашут, и сеют. Лес рубят. И косят. И рыбалят. Урожай сгребают.

– Завидно? – спросил Василий Самсонов.

– Чему завидовать? У самих хлопот полон рот. Из района пришла указивка. Сократить большие хозяйства, а то получается – кулацкие.

– Кулацкие с наёмной силой, – отвечал Василий Яковлевич, – а у меня заместо китайцев мои дивчины.

– Ну смотри, атаман...

Василий Яковлевич стал смотреть. Получалось, если на всех дочерей поделить коров, лошадей и овец (когда замуж пойдут) – не так богато. Но смотрел он сердечно и слёг. И в одночасье не встал. Его погребли возле старой церкви, воздали должное воину.

Однако Дмитрия Лаврентьевича Черных никакая хвороба не брала. А погранцы ему не указ. Ночью они перехватывали Дмитрия на льду или на плаву, грозно советовали не нарушать границу. Дмитрий отвечал: «Здесь я вырос и состарился. То моя родина, а вы тута временные».

Но по понятиям середины 20-х отец-эмигрант – явление опасное. Но Ивана и Гутю настолько захватила семейная песня, что отца, Дмитрия Черных, они воспринимали как припев к песне. Привечали его и ласкали.

Головная боль у пограничников – именно Дмитрий Черных. И тогда решили испытать Ваню и Гутю на излом.

Наряд пограничников силой взял Ивана и увёз из станицы. Гутя думала – в Рухлово (ныне Сковородино). Оказалось, в Благовещенскую тюрьму.

Я сам только что получил из КГБ (ФСБ) документы о событиях 1927 года. И узнал, что отец был вывезен в Благовещенский тюремный замок.

Первое, что я сделал, – поехал в нашу тюрьму. Мне выписали пропуск, я вошёл в мрачное чистилище. С подполковником Н. мы посетили старинный корпус, где содержали отца, и камеры, где он был заперт.

В нынешние мои лета, прошедший огни и воды, я не заплакал. Я всё время помню – за спиной у меня мама Гутя. Она выдержала тогда невиданное испытание. Не просто выдержала. Испытание приподняло её над грешной землёй.

Она боролась за Ванечку с пятнадцати лет. Её соперницей была несравненная Таля, дочь предпоследнего албазинского атамана Павла Птицына. Но Павел Птицын, мудро просчитав все шансы дочери, поспешил выдать её за почтовика Гавловского, укоренившегося на Амуре поляка. Закадычные соперницы выплакались на свадьбе и остались верными подругами на всю жизнь. Даже когда обстоятельства вынудили Павла Птицына бежать из Албазина – а он бежал не к Дмитрию Черных, не в Китай, а в Казахстан, – но и там его настигла че-

Снимки мрачные, но в старом корпусе, дореволюционном, Благовещенской тюрьмы разве могут быть эти снимки немрачными?..

кистская пуля, – и тогда Гутя и Таля не покинули друг друга...

После ареста Ванечки маменька обошла сто подворий и собрала подписи в защиту Ванечки. Наивная, она думала, что власть примет к сведению письмо коренных станичников. Не тут-то было.

Процитирую это письмо, хотя видно, что над окончательной редакцией походила рука особиста. Предварительно надо дословно привести слова из Постановления Уполномоченного КРО ПП Богданова (и следом резолюции начальника КРО ПП Шнеерсона – «Согласен» и «Просмотрено» – Ю.К. Анцелевича): «...В виду их принадлежности к социально-опасному элементу («их» – вместе с Ванечкой взяли Александра Самсонова, по возрасту он годился в отцы Ивану, 1871 года рождения) – направить для рассмотрения в Особое совещание при Коллегии ОГПУ на предмет заключения в концлагерь, направив предварительно на заключение Далькрайпрокурору...

Справка: Обвиняемые Черных И.Д. и Самсонов А.И. содержатся под стражей в Благовещенском ИТД».

22 июня 1927 года Иван Черных был допрошен (лист «Дела» 8). Из протокола вычитываем: на вопрос 7-й «служил ли в армиях реакционных правительств, где, когда в каком чине и в какой части?» – ответ: «Не служил».

На 8-й вопрос: «Служил ли в контрразведывательных учреждениях реакционных правительств (и пр.)» – ответ: «Не служил».

Далее тятя просит перо и пишет: «В период колчаковщины ни в каких белогвардейских отрядах не участвовал и пособничества не оказывал... в 1920 году призвали на военную службу и служил в 1-м и 2-м кавалерийских полках. В 1921 году из армии (Красной) дезертировал»... – начинается, нет, продолжается судьба Григория Мелехова, персонажа шолоховского «Тихого Дона». Но то, что позволено литературному герою, не позволено Ивану Черных. Его зазывает Гутя, и он готов отозваться на зов любимой дивчины, но в эти месяцы он у отца в Китае. Отец уговаривает переманить Гутю в Китай, но в 1922 году Иван переходит границу и возвращается домой. Притяжение родины и Гути одолело.

«Ни в каких разговорах против советской власти с кем-либо не участвовал, а также не говорил о войне с Китаем и о падении соввласти.

Отец мой Дмитрий Черных последний раз приезжал ко мне в Албазин в 1924 году... Обнаруженная обыском газета «Возрождение» принадлежит жене (для выкроек, в выкройках и найдена)» ...И подпись отца.

В «Деле» есть и «Протокол обыска», из «Протокола» явствует, что при обыске (это 14 июня 1927 года) обнаружено ничего не было». Обыск произведён в присутствии п/уполномоченного Шишкова, представителя с/совета Филинова и квартирохозяйки гр-ки Черных Августы Васильевны».

Росписи матери, Филинова и этого самого Шишкова.

Сохранился Ордер №18 на право производства обыска от 14/VI–27 года.

Но обыск ничего и не мог дать, ибо Иван был весь в отцовстве, то есть малые детишки пленили его. Уже родился Вадик, третье дитё.

Но всё-таки тятю берут и увозят.

В безнадёжную борьбу вступает мама Гутя.

Лист «Дела» 10 называется «Поручительский», от 29 августа 1927 года: «Мы, нижеподписавшиеся жители села Албазина Рухловского района Зейского округа даём настоящее поручительство в нижеследующем: наш односельчанин Иван Дмитриевич Черных, местный уроженец, в 1920 году под влиянием отца Дмитрия Лазаревича Черных эмигрировал на китайскую сторону, но в 1922 году возвратился обратно и с этого момента по день ареста проживал в Албазине, занимался хлебопашеством, ни в каких контрреволюционных выступлениях не замечался.

Черных в настоящее время обременён семьёй в числе жены, трёх малолетних детей и больной сестры. Имеет домашность, как-то: 3 лошади, 2 коровы и другую хозяйственную обстановку. Беря его на поруки, мы ручаемся, что от суда он не скроется и по первому требованию суда явится или же нами будет доставлен куда следует.

К сему подписуемся...»

Далее идут факсимильные подписи ста десяти албазинцев, в послесловии я могу назвать всех, сейчас приведу имена друзей и родных: Р.Портнягин, Григорий Черных, Суриков (кстати, девичья фамилия бабы Груни, матери мамы Гути, – Сурикова. Эту фамилию она понесла, через родителей, ещё с Енисейских времён), Георгий Сенотрусов, Павел Птицын, это отец Тали Птицыной – Гавловской, маменькиной подруги, Василий Самсонов (отец Гути), Филат Исаков, Павел Антипьев.

И другие.

В конце третьего листа «Поручительства» стоит: «Собственноручные подписи граждан в сем Поручительском Листе Албазинский сельсовет свидетельствует.

Председатель сельсовета Филинов.

30 августа 1927 года».

Любопытна резолюция оперативных работников нынешнего Амурского ФСБ: «Ксерокопия снята»... – и роспись начальника подразделения УФСБ РФ по Амурской области: 17.09.2010. Я. В.Ширяев. Считаю себя обязанным называть сегодняшних функционеров КГБ. Ибо, получив, наконец-то, через 83 года, из Центрального архива КГБ (он в Омске) «Дело» моего тяти, реабилитированного в 90-х, как я ранее поминал, меня позвали в резиденцию ФСБ на улицу Пионерскую, чтобы я, уже старик, внял горьким истинам конца 20-х годов, о которых слышал от мамы Гути не-

внятно. Внятно она остерегалась мне говорить, чтобы не надломить судьбу младшего сына.

С дамочкой из ФСБ сели мы в кабинетике. Я стал листать «Дело» и тотчас обнаружил некоторые страницы защемлёнными скрепками.

– Что это означает? – спросил я даму.

– Это нельзя смотреть, – смутившись, ответила она.

– Почему? «Делу» моего отца 83 года. Спустя почти столетие «нельзя смотреть»?! Тогда я отказываюсь знакомиться с «Делом», – я встал и ушёл домой.

Неделю спустя меня снова позвали в ФСБ и сказали: «Мы открыли некоторые страницы, Б.И. Приходите, пожалуйста».

Пришёл. В числе «открытых» было как раз коллективное письмо албазинцев в защиту тяти. Выводы читатель пусть делает сам. Я же могу сказать: если подобными черепашьими темпами мы будем восстанавливать правду столетия, мы никогда из-под завалов прошлого не выберемся. Мы никогда не выберемся к свету истины.

Разумеется, иллюзии питали Гутю Самсонову-Черных: да, все подворья старинной станицы высказались в защиту Ивана Черных. К тому же Гражданская война отполыхала. Что ж, Дмитрий Черных выбрал не советскую власть, но он не выбрал и контрреволюцию. Протест его был пассивным, немым. Эка важность – вырыть на китайском берегу землянку, поставить там печурку, навещать внуков и любимого сына. Но по раскладу тогдашних опричников Дмитрий признан белоэмигрантом, следовательно, врагом. Врагов советская власть любила, она без них жить не могла. Ворваться же в Китай и там схватить Дмитрия Черных, перетащить на русский берег в те глухие времена рискованно. Поступим проще – арестуем сына. Оснований для ареста нет? Но отец – белый. Разве это не основание?

Можно предположить – тятя попал в капкан. Он коротает дни и недели в тёмной камере старого корпуса Благовещенской тюрьмы. О письме одностаничников в его защиту не знает. Он не получает никаких вестей от Гути. Ваня отрезан от мира.

Нелепые обвинения в некоем белоэмигрантском заговоре чуть ли не с самим генералом Сычёвым (в Харбине) отметает. Но зэки рассказывают ему, что из этих камер уводят только на расстрел или увозят в концлагеря. Стало быть, надо молиться и готовиться к худшему.

Алексей Самсонов, уличённый в том, что в Рухлово на ж.д. вокзале сорвал красный флаг, пал духом. Однако и Алексея Самсонова Иван Черных не видит, их расселили по разным камерам.

Наконец Ивана вывели к следователю, в стенах тюрьмы же. Тятя идёт, ожидая худшего. Но, к его удивлению, ему объявляют, что он Особым Совещанием ГПУ приговорён к трём годам ссылки, увы, в гибельные места – в Туруханск на Енисее.

Итак, этап.

Отца определили в плотницкую бригаду ссыльных, они рубят избы, ремонтируют бараки ещё царских времён. Тятя тоскует, но позвать к себе Гутю не смеет. Уж больно тяжела дальняя дорога. Притом на кого Гутя оставит деточек? Иван не догадывается о том, что замыслила Гутя. А Гутя замыслила отчаянное решение. В Албазине она распродаёт всю домашность, снова обходит дворы, просит о складчине. Опытные казаки отговаривают Гутю: «Ну куда ты ринешься с малыми? Это край света, там полярная ночь, морозы за минус пятьдесят». Но она выслушивает советы и срывается в Рухлово, там покупает жёсткие места в пассажирском поезде, добирается до Красноярска. И по тем временам город Красноярск ей кажется огромным. Она снимает на трое суток избу, шлындает по крестьянскому базару, где продают и живность, в том числе лошадей. Она осматривает зубы жеребцам, выбирает подходящего, покупает. Покупает розвальни и большую попону, чтобы в ледовой дороге оберечь детей от простуды. Ждёт попутного обоза, в одиночку идти нельзя, лютуют волчьи стаи. Дождалась, уговорила старшого взять её в обоз. Старшой дивуется – лихая! Но берёт её в обоз. Начинается, не побоюсь этого слова, героическая эпопея.

Хорошо, мама Гутя с детских лет знала гоньбу и, повязав шалью лицо, гнала за мужиками, не отставала. На случайных полустанках сердобольные сибиряки давали привал на ночь, поили молоком детей и кормили картошкой. Рано утром, ещё в сумерках, обоз снова шёл в низовья. Так, без уведомления, она предстала перед любимым Ванечкой. Ванечка пал на колени перед детишками и Гутей. Его товарищи по несчастью дивились и завидовали Ивану Черных.

* * *

В крохотном отступлении скажу: когда я подрос и, страстный книгочей, добрался до жён декабристов, как они столетием раньше ринулись к ссыльным мужьям, но детей оставив в своих поместьях, в России, – я восхитился: дворянки и княгинюшки рискнули одолеть пять тысяч вёрст. Маменька с кроткой улыбкой слушала меня, и только когда я заканчивал школу, решилась рассказать о своём путешествии к тяте. Енисей тогда, в суровую зиму двадцать восьмого года, представлял голую пустыню. Стоянки в сёлах по берегам великой реки были несказанной радостью для моих братьев и сестрицы, да и для мамы Гути.

А ледовая дорога казалась бесконечной, но на восьмые сутки перед ними неожиданно предстал посад. Туруханск. Завывала метель, на высокой мачте у монастыря развивался чёрный стяг. Этот чёрный стяг был признани-

ем, что день рабочий актирован, мужики сидели по избам. Нерабочий день пришёлся кстати – праздник для Черныхов. Тятя не мог наглядеться на ребятишек, вспоминала мама Гутя, даже прослезился. Мама считала его кремнёвым, и вдруг слёзы.

Ожидая зимнего ненастья, ссыльные готовили припасы: сахар, соль, картошку, рыбу. С рыбой проблемы. Тогда советская власть придумала иезуитскую меру – русским запретили отлов, и это в низовьях Енисея, когда красная и белая рыба идут косяками, в нерест можно весло стоймя ставить в улове.

Местное племя кетов имело право брать из реки столько рыбы, сколько поднимут. Это тоже придумала власть. Кеты и поднимали. Солили в бочках, устраивали не продажу, а обмен: русские приносили им водку или самогон, а кеты отдавали хвосты. Что мешало самим кетам в магазинах брать спиртное? А тут другой закон – запрет действовал: не продавать малым сим водку: сопьются-де. Это глупость. Русские покупали поллитровки и шли по чумам или баракам кетов.

Тятя наш быстро усвоил эти уроки, и рыба была у него. Малосольная и просто мороженая. А когда есть рыба, жить можно. Рыба то же мясо. Охотники в окрестных лесах брали иногда медвежатину или козлятину, но в нормальную погоду. Поэтому – рыба. Утром, на обед, на ужин. Впрочем, и на Амуре рыба всегда была в запасе. Ничего нового нет в обильных краях Сибири и Дальнего Востока, всё извечное. И даже непутёвая власть извечна.

Мама Гутя принялась хозяйничать. Сосед тяти, седой ссыльный (тятя сказал, что тот попал в ссылку за анекдот, рассказанный в кругу друзей, анекдот совершенно невинный по меркам конца 20-х годов), – сосед, завидуя Ивану и вздыхая, ушёл к сотоварищам, и у Вани с Гутей оказалась комната и кухонка с печкой, ребятишки могли шалить и вволю смеяться.

Однажды Гена и Гера на улице, за окном, повздорили, а после оба заплакали, на что тятя, улыбаясь, сказал строкой из песни:

– Две гитары под окном

Жалобно заныли... – и мама вдруг вспомнила о певучести своей, мама Гутя в девичестве пела не только на клиросе Албазинской церкви, но и дома, в компании. «Гитару не взяла, – сказала она, сожалеючи, тяте. – Всё равно не довезла бы, в дороге разбила».

А тятя пошёл к соседям, вернулся с гитарой, старенькой, изношенной, но мама Гутя взяла аккорд, и тятя услышал старозаветное:

– Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
Но любовь всё жива
В моём сердце больном.

Об этом она рассказала нам с сестрицей много лет спустя. И годы гитара висела дома, на Шатковской, рядом с машинкой «Зингер». Иногда, отложив шитьё, подруги, по рюмочке приняв, пели старинные песни. Это Гутя и Таля. И непременно вспоминали тятю. К ним подпаривалась тётя Пана Хованская.

В эти минуты я сидел, затаив дыхание. Память о неведомом тяте пропитывала меня. И память о погибшем Вадике.

В те же годы свою ссылку в Туруханске отбывал врач Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), позже канонизированный Русской православной церковью.

На второй день вьюга чуть утихомирилась, Ванечка вывел выводок на улицу, чтобы показать хотя бы часть Туруханска, по внезапно закашлялся. Мама Гутя увидела на белом снегу кровавый ошмёток и сразу догадалась: у папы сдали лёгкие, может быть, ещё в камерах Благовещенска, но Ванечка не придавал значения своему здоровью.

Теперь же рядышком были Вадик, Гера и Гена. И мама Гутя дышала рядом. Мама заметила, что Ванечка спиной всё жмётся к печке. То был тоже признак беды. Что будет с малыми их детишками? Но надо дожить срок ссылки. И после ссылки не упекли бы куда подальше. Здесь они вроде бы вольные, хотя каждый день отец отмечался в милиции. Теплятся трубы котельной и монастыря, с коего сорваны купола и кресты, а из церковнослужителей (их недавно было пятеро) остался единственный. Остальных угнали в неизвестном направлении.

Мама Гутя достала махонькую иконку, копию Албазинской Божией матери, они походя молча молились.

Гутя принялась писать в Москву, слёзно умоляя о пощаде. Кому она писала, вполне владея слогом? А словом она владела. «Дедушке Калинину». Легенды о «дедушке» ходили сказочные, и, видимо, тиран понимал, что эта добрая слава Калинина греет и власть в целом.

И представьте, однажды пришёл ответ, на министерском бланке. После ссылки семья Черныхов может выбрать место жительства повсюду в России, кроме Албазина и Рухловского района. Тятя рассмеялся – какие мы, Гутя, грозные и опасные. Нельзя землепашествовать на родине.

Но ни тятя, ни мама Гутя не ведали, что происходит в Албазине и на русском берегу Амура. Связь оказалась прерванной. Мама Гутя писала Тале Птицыной-Гавловской и сёстрам короткие письма, но ответом было молчание. Тятя, понимая своё положение, никому запроса не отправил. Знал, навредит не только семье.

А в станице Албазин сотворялись трагические события. Был убит дед Дмитрий. Произошло это так. Не зная о том, что мама Гутя с внуками снялись с якоря и помчались к Ванечке, Дмитрий, тоскуя по сыну и внукам, решил навестить своих. Но посреди ледовой тропы внезапно выпрыгнувшие из посадок погра-

ничники перегородили тропу: «Куда, мать-перемать, идёшь, отец? Граница отныне на замке». – «К внучатам», – миролюбиво отвечал Дмитрий и пошёл далее. Вслед раздались выстрелы, Дмитрий упал. Пограничники, напуганные бессудной расправой, добили Дмитрия и спустили в ближнюю прорубь. Скрыть событие не смогли потому, что юные солдаты с погранзаставы ходили на танцульки в албазинский клуб и вышептали девахам правду.

Что же мои? После Туруханска они удалились в г. Щегловск Кемеровской области. Они выбрали этот городок ненадолго, потому что там их обложили стукачами, скоро жить в Щегловске оказалось невмоготу. Сохранилось фото 1932 года. Мама Гутя достала из мешка старенькое любимое платьице и старые туфельки, а тяте кто-то дал френч (тогда в моду вошли эти полувоенные френчи).

Всю жизнь я разглядываю фотографию родителей. То, что свершила мама Гутя, – побег в Туруханск (посмертная слава маменьке!) –

Отец и мать на поселении в г. Щегловске

мне понятно и близко (хотя тогда на свете меня ещё не было). Но глядя в лицо тяти, я думаю: какой притягательной силой надо было обладать тяте, чтобы за тысячи верст, чахотошный, он воззвал маму Гутю, она, немо же, отозвалась на зов и, ни минуты не сомневаясь, ринулась в неведомые края.

А на Амуре началась так называемая коллективизация. Опытные казаки решили, что затеяна авантюра, они надеялись отсидеться на заимках и подворьях. Волна схлынет, авось останемся сами себе хозяевами.

Власть ответила, как и положено безбожной власти. Летней ночью 1931 года к Самсоновскому взвозу подогнали баржу с буксиром, прикладами загнали на борт сорок албазинцев. Притом родным запретили выйти к берегу попрощаться.

Этих сорока мужиков утартали вниз по течению Амура, и они бесследно пропали. Могло ли так быть: за десятилетие, до самой войны с германцем, не добралось до станицы ни единой весточки – ни письменной, ни устной? Потом война заслонила беду 1931 года. Лишь после войны прозорливые старики догадались: баржу с арестованными станичниками затопили живьём в низовьях Амура.

И этого тоже не ведали ни тятя, ни мама Гутя.

В 1988 году после возвращения с политзоны (я отбывал мои пять лет с 1982 по 1987-й на Урале) посетил я дедовские и родительские гнездовья. Стояла крепкая зима, слава богу, без метелей. Меня угостили чаем в доме деда Василия. Дом стоял на Самсоновском взвозе. Там в 88-м жила семья пришельцев-чужаков Метёлкиных. Они обиделись, когда, осмотрев дедовские углы, я сказал: мне есть куда вернуться. А для стариков Метёлкиных я отыщу другой угол. Разумеется, я говорил неправду. В 1988 году Албазинский совхоз «Чекист» уже упал, и что бы я делал в упавшем «Чекисте»? Хотя дом деда Василия был моим по праву наследования.

Но тогда же, зимой 1988 года, один из Сенотрусовых увёл меня на лёд Амура и сообщил о расстреле деда Дмитрия и гибели сорока албазинцев. С 1931 по 1988 год сколько лет минуло? Правильно, пятьдесят семь.

Но родители мои не знали об угоне албазинцев. Мама Гутя, умершая в 1959 году (я тогда был студентом), и в пятьдесят девятом не ведала об одностаничниках. Даже Таля Птицына-Гавловская, давно бежавшая из станицы и ходившая в Свободном у моей мамы в подмастерьях, не решилась рассказать подруге Гуте о трагедии 1931 года.

Имя и отчество летописца Сенотрусова я записал тогда в тетрадку, но в домашнем архиве не могу отыскать тетрадь. Но сомневаться не приходится. Что было, то было. А после репрессивный вал: в конце 30-х годов и война с германцем, унёсшая половину мужского населения станицы.

По наитию, однако, тятя тогда вычислил гибель отца и затосковал. Год от году тоска становилась необратимой, тятя замолчал и молчал до последнего дня. Мама Гутя втихомолку плакала, а по ночам прижималась к Ванечке.

***

Последние дни застали тятю в совершенно чужом городе Свободном, тогда Свободный был объявлен «столицей» БАМлага.

Из Щегловска в 1935 году родители решили поехать поближе к родине: сначала в Белогорск (тогда Куйбышевка-Восточная), потом в Свободный (первородно – «Цесаревич Алексей», после Февральской – Алексеевск). Но почему именно в Свободный они потянулись?

Потому что туда перебрались сёстры тяти – Катя и Рая. Сёстры сообщили брату, что среди зэков есть доктор-лёгочник Виноградов. Отец рванулся из Белогорска, там доживала век баба Груня, мать Гути, в Свободный, нашёл Виноградова (тот оказался расконвоированным). Доктор в городской клинике сделал рентген, выстукал тяте молоточком грудь и спину и сказал утешительное: «Несколько лет я обещаю тебе».

Роскошное суление по тем временам и в том плачевном положении тяти. Тятя решил: он поможет маме Гуте поднять Вадика, Геру и Гену. Но в 1936 году медсёстры сообщили Ванечке, чтобы он не приходил отныне в клинику: по приговору тройки Виноградова ночью увели чекисты, и на бамлаговском погосте доктор был расстрелян...

Тятя уходил из жизни пристойно. Зимой 1938 года особисты в Свободном пришли взять отца, но, увидев, как, задыхаясь, он отхаркивает кровь в ведро, поднесённое мамой, они сказали: «Не жилец», – и ушли. Тятя сказал: «Слава богу, помру дома».

Спустя десятилетия маменька рассказала, как накануне смерти Ванечку охватил приступ пророчеств. Пророчества напугали Гутю потому, что страшный приговор тятя, сострадая, вынес Вадику. Почему же тихому Вадику, а не бедовому Гене? Или слабенькой Гере (у Геры, в отца, были слабые лёгкие)? Да и я, хилый последыш, едва держал голову (мать тогда спасала меня, младенца-искусственника, и спасла козьим молоком).

Гера. 1946 г.

Вадим в Порт-Артуре

Но пророчество тяти о смерти Вадика сбылось. Старший из братьев Гена прошёл через лагерь Среднебелое с 16 лет (там одновременно с Геной отбывал молодой Юрий Домбровский). Началась война с германцем, в сорок третьем Гена выпросился на фронт, разумеется, в штрафбат, был контужен и ранен, но всё равно уцелел и вернулся домой, уже после падения Японии, из Маньчжурии.

Вадим, солдат морской пехоты, погиб в Порт-Артуре. Не в бою, а в автокатастрофе. Взвод Вадима перевозил водопроводные трубы на студебеккерах. Когда машина с солдатами в кузове по мокрой дороге должна была пройти над обрывом, ребята попросили у лейтенанта, взводного, разрешения сойти с машины и пешком пройти опасные сто метров. Пьяный лейтенант закуражился. Машина сползла в глубокий кювет и перевернулась. Все солдатики были ранены. Вадик умер при переливании крови, ему не исполнилось девятнадцати лет. Он похоронен на Русском кладбище. Ах, Ванечка, зачем так не близко, но

Коля, муж Геры

безошибочно ты определил раннюю гибель Вадика? – мама плакала по ночам, молилась заупокойно, перечитывала письма Вадима. Он рос даровитым мальчиком и многое обещал, но ранняя смерть тяти и война оборвали надежды.

Вадика призвали-то семнадцати лет на уссурийскую границу, видимо, во время тяжёлых боёв под Сталинградом. Мама в ворот рубашки зашила Вадику молитву о спасении, я тогда с душевным трепетом наблюдал священнодействие мамы, Вадим торжественно молчал.

Новобранцы на Уссури голодали и холодали. Письма Вадима, рвущие душу и спустя шестьдесят лет, я иногда перечитываю. Трогательные просьбы к маме, чтобы она хотя бы россыпью в конверте прислала махорки на закрутку – так они бедствовали.

Но в августе сорок пятого наша армия пошла на Харбин. Вадик нелицеприятно описал русских эмигрантов: эмигранты выглядели сытыми и ухоженными.

Далее наши солдаты ринулись с боями к Порт-Артуру. Питание стало нормальным, солдатам выдавали по пачке махорки через день. Вадик писал счастливые письма.

Гена же потерялся на восточном фронте, мама Гутя свято поминала каждый день папу Ванечку и сына Вадика. Сестра Гера уехала в Малую Сазанку, там стояла военно-морская часть Амурской флотилии. Грамотную Геру взяли секретаршей в штаб, она вышла замуж за матроса, но тут японская компания прервала мирную жизнь.

Я видел душераздирающую сцену прощания с Колей, мужем Геры.

Провожал я Гену, потом Вадика и наконец Колю.

Про японских самураев рассказывали страшные легенды. Самураи не умели сдаваться в плен, сражались до последнего, иногда их находили прикованными к станковым пулемётам.

Все эти месяцы я оставался с мамой. Со стены на нас смотрели тятя, Гена, Вадик, Коля. И ранний уход отца, совсем ранняя гибель Вадика. Где без вести пропавший Гена? И наконец, где Колина часть? Всю войну стоявшая наготове (японец прянет) малосазанская бригада внезапно снялась с насиженного места, Коля прощально махал бескозыркой из фрамуги теплушки (при этом оркестр играл печальное «Прощание славянки»). Это и есть моё отрочество, быстро сменившее детские годы. Господи, помоги нам устоять – поневоле станешь молиться.

Слава Тебе, с серебряной медалью на груди вернулся живым Коля. Он как братишку обнял меня и как родную обнял маму Гутю. Оставалось просить Бога за Гену. Мама Гутя и просила. Поздней осенью, уже позёмка мела, командир полка сообщил в письме маме: Геннадий Иванович Черных выполнял особое задание

Геннадий после двух фронтов

командования, выполнил и вернулся, читайте его письмецо.

– Чё поднимать панику, мама? – спрашивал в письме старший брат. – Война с узкоглазыми не лучше войны с немцем. Но я цел и невредим.

Мы, получив доброе известие, возрадовались с мамой, она снова застрочила из своего пулемёта – ножная машинка «Зингер» напоминала пулемёт.

Между прочим, по тем временам иметь немецкую «Зингер» считалось богатством. Оказывается, в первую германскую барыня, шедшая через Албазин с мужем-полковником в Хабаровск, растрогалась маминой любовью к шитью и неожиданно одарила её бесценным подарком. «Зингер» спасала и спасла нас в отчаянные годы смертельной болезни тяти, потом в годы войны.

Подсобницей же у мамы, я поминал, оказалась тётя Таля Птицына-Гавловская.

Можно подивиться, что Свободный во времена революций, войн и репрессий уцелел и окреп, но теперь загнивает на корню, причём не только физически, но и нравственно. Кричащие факты на слуху. Мы решили на железнодорожном вокзале повесить мемориальную доску: «Здесь, возвращаясь из эмиграции, встречался с общественностью города Александр Исаевич Солженицын», – железнодорожные чиновники запретили вывешивать доску.

В Доме офицеров мы планировали провести «Дни памяти» Исаича. За три дня до открытия Дней я приехал проверить готовность здания Дома офицеров к Дням. Но весь Дом был завален восковыми фигурами динозавров и кенгуру. Оказывается, этак решили помешать проведению Дней памяти. Кто решил? Эпоха «демократии».

На главном погосте в Свободном, в Дубках, где покоятся тятя и мама, современные бандиты сняли всю железную ограду и сдали на металлолом...

Но мы отвлеклись. Прости, Отче. Прости, маменька. Простите, братья Вадим и Гена. Прости, тётя Таля.

Здесь уместно вспомнить, как, состарившись, тётя Таля Птицына Гавловская завещала мне икону Албазинской Божьей матери. С Албазинской отец венчал юную дочь в станице. Когда я наконец-то отодвинулся от перепитий моей судьбы, я пришёл в домик Гавловских, и дядя Саша, престарелый сын тёти Тали, снял из угла икону и, вздохнув, передал мне.

А в пятидесятых, заканчивая школу, я невольно слушал бурутьбу мамы Гути и тёти Тали.

Не сильно переживая, что я слушаю их воспоминания, маменька, по-моему специально, принималась рассказывать детали прошлого, а тётя Таля ей помогала вспоминать.

Тогда я узнал о последних минутах отца. Тятя не вставал с кровати неделями и поэтому

Мужская ветвь Черныхов: Сергей, моряк на Дунае, сын брата Геннадия, живёт на Украине. Андрей, старший мой сын, историк, живёт в Ярославле, младший Дмитрий учится на истфаке в Благовещенске. Внук Иван Черных, правнук Ивана Дмитриевича Черных, математик-программист, живёт в Ярославле. И я. Мы на берегу Зеи, 2008 год.

попросил маму Гутю поднести меня к нему на колени. Мне тогда было около одиннадцати месяцев. Маменька поняла – он прощается. И безоглядно, хотя горлом у тяти шла кровь, положила крохотулю на колени отцу. А руки у отца были ледяные (сердце его почти не работало). Я пустил струю на тятю. Отец счастливо рассмеялся и тотчас отошёл. Тут с улицы прибежал Гена. Мама приложила палец к губам. Гена горько заплакал.

Отпеть отца не удалось. Тогда Свято-Никольская церковь оказалась забитой досками крест-накрест, а батюшку выгнали из города. Но мы отпели тятю дома, хотя вскоре этот дом на улице Комсомольской, у нас отнимут и переселят в комнату какого-то барака. Нас было пятеро, да от покойной маминой сестры Пелагеи приехали сироты. В комнате общежития оказалось нас восьмеро. Недавно я письменно обратился к губернатору с просьбой вернуть мне домик, чтобы, готовясь уходить в Дубки, я был бы на месте.

***

Последние абзацы моего рассказа надо назвать «В тени отца». Лебединые крыла Отче простёр над маменькой и над сиротами. У меня всегда было ощущение, что Отче молча стоит за плечом и одобряет мои неумелые, сначала пацаньи, потом юношеские движения.

Братья ушли на фронты. Я остался на Шатковской (где нам дали сносное жильё) единственным мужчиной. Тяготы тех лет? Тогда у всех были тяготы. Землицы огородной оказалось маловато, всего три сотки, и те сплошная

глина. Соседям нарезали по пять соток. Но в сильные дожди с верховых улиц города ручьями наносило к нам много песка, песок я впустил на огород. Уже хорошо – помешать глину с песком.

После вечернего прогона стада я собирал на улице коровьи лепёхи, мы замачивали их в железной бочке. Подкормка для помидоров и огурцов. Запахи шли? Божественные! Тятя, стоя за моим плечом, шептал: «Так, сынок. Действуй. Не сдавайся». Я и не сдавался.

В 44-м случился невиданный урожай картошки, до 30 кулей. А подпол в старом доме промерзал. Куда девать такую прорву картошки? А ещё подошли свекла и морковь, а ещё... Пришлось мне разбирать дряхлые прясла в подполье, менять их на новые.

Однажды я напечатал в Москве «Три сотки», ностальгическое слово о том времени. Но я смолчал тогда о мистическом явлении тяти.

Нынче втихомолку я внушаю сыновьям и внукам стоять до последнего. Имею ли я право показать читателю лица моих (и тятиных) потомков? Вот они.

Стало быть, мы стоим. Заметьте, младший сын назван в честь прадеда Дмитрия, а мой внук-великан-красавец в честь прадеда – Иваном. Сыновья мои историки – старший, Андрей, живёт в Ярославле, а младший, Митя, учится на историческом факультете в Благовещенске. Ваня же пошёл в математики-программисты.

Внучка – красавица Ксения – родила двух внуков. Здесь, на семейном фото, Андрей держит внука Степана, а на коленях у Наташи, жены Андрея, внучка Маша. То есть моих правнуков. Зажился я на белом свете.

***

Отче наш, сущий на небесах, Ванечка. Да святится имя Твоё.

БЛАГОВЕЩЕНСК-на-АМУРЕ
АЛБАЗИН
СВОБОДНЫЙ-АЛЕКСЕЕВСК
ТУРУХАНСК
2011 год, март – июнь

P.S.

Территория Туруханского района вдвое больше Португалии и втрое – Латвии. Лето сюда приходит лишь на две недели, а зимой стоят морозы под 60 градусов. Здесь около 90 видов комаров, большие зарплаты и заоблачные цены.

Туруханскому району исполнилось 400.

Три часа самолётом от Красноярска – и вы на севере края. У трапа прибывших встречают полчища комаров, слепней и прочих кровососущих. Отбиться от них невозможно, поэтому в 30-градусную жару приходится надевать брюки и кофты. У тех, кто сюда попал впервые, один вопрос: как люди живут в таких условиях? Не случайно в своё время здесь была ссылка. На поселении в Туруханском районе жил Иосиф Джугашвили (Сталин) и Яков Свердлов.

***

Албазинцы в Китае – казаки, ушедшие в Китай после заключения Нерчинского договора вместе со священником Максимом Леонтьевым, проживали в Пекине. С 1686 года эти казаки были зачислены в маньчжурскую гвардию, приняв подданство Цинской империи, в отряд «Знамени с жёлтой каймой», которой командовал принц маньчжурской династии. Албазинцы составили отдельную сотню и служили под командованием своих командиров. Они получили земельные наделы, дома, денежные награды и были зачислены в высший социальный слой жителей Пекина. Богдыхан отдал им в распоряжение буддийскую кумирню, которую казаки переделали в церковь Святой Софии. Во время боксёрского восстания в 1900 году 300 человек из них были убиты повстанцами. В память о жертвах на территории Пекинской духовной миссии был возведён храм Светлых мучеников (разрушен в 1956 году по требованию советского посла в Китае), а сами мученики прославлены Русской православной церковью в лике местночтимых святых.

Из книги «Сковородинский район».

«Туруханск ликом смахивает на природу, его окружающую. Изломанный на краюшки крутым яром, оврагами и речками, он живёт настороженной жизнью, найдут ли геологи чего в здешних недрах? Найдут – процветать городу и развиваться. Подкузьмят недра – хиреть ему дальше. Но чего-нибудь да найдут, не могут не найти – район на восемьсот длинных вёрст распростёрся по Енисею, поперёк же, в глубь тайги, сколь его, району?..»

Виктор Астафьев, «Туруханская лилия».

Но надо и вторую половину рода хотя бы боком показать. Вот сестра Гера во время работы в штабе Малосазанской морской бригады, 1984 год. А это Ира, дочь старшего брата Геннадия, они живёт в Молдавии. А это моя дочь Елена. Судьба-злодейка унесла её далеко от родины, где она тоскует по Иркутску. А это Майя Петровна Черных, мама Дмитрия и моя сестра милосердия. Она взяла на себя огромный труд набора рукописей, их корректуру и подготовку к печати моих книг и журнальных публикаций. Именно Майя вынесла на своих хрупких плечах выпуск литературной газеты «Очарованный странник» в Ярославле (1992–1996 гг.) и историко-культурной газеты «Русский берег» в Благовещенске. А это моя кузина Лиля и её дочь Елена, педагоги. Лиле я обязан многочтением в отроческие годы, книги она выдавала строго классические.

БЫЛ ЛИ ЕРМАК

Яков СОЛОДКИН

Обстоятельства «Ермакова взятия» Сибири, положившего начало присоединению этой бескрайней страны к Российскому государству, вызывают пристальный интерес исследователей уже без малого четыре столетия – со времён «отца сибирской истории» академика Г.Ф. Миллера. Учёные не обходят вниманием и происхождение «ратоборного» атамана, хотя из-за отсутствия достоверных свидетельств вынуждены ограничиваться гипотезами и догадками.

Одна из них появилась в конце прошлого века, когда тобольский историк и писатель В.Ю. Софронов счёл, что Ермак – это «кличка-прозвище», обозначающая в тюркских наречиях жёрнов, прорыв, прорву, а предводитель казачьей «дружины», овладевшей «за саблею» «юртом» Кучума, был выходцем из среды сибирских князей – противников хана-узурпатора. Позднее Ю.А. Зуев и А.Ш. Кадырбаев привели новые доводы в пользу этой версии (которую известная екатеринбургская исследовательница Н.А. Миненко признала фантастической). Историки пришли к заключению, что Ермак являлся тюрком по происхождению, точнее, ногаем. Его имя (об «отчестве» – Тимофеев сын, несомненно, славянском, при этом забывалось) в тюркских говорах – синоним забавы, развлечения, соперничества. (Как видим, такая этимология расходится с той, которой следует В.Ю. Софронов.) Тюркскими в представлении Ю.А. Зуева и А.Ш. Кадырбаева служат и прозвища Ермака – Таган (то есть большой котёл) и Токмак (колотушка). Но с первым из них «храбрый смлада» атаман упоминается только в позднем и явно баснословном рассказе, Токмаком же «наставник» казаков в зауральском походе мог прослыть в их кругу оттого, что был слугой (холопом) князя, носившего такое прозвище, либо Токмакова, представлявшего одну из ветвей многочисленного рода князей Звенигородских. Примечательно, что такое же прозвище в 1625 году носил живший в Поморье крестьянин Ермола Гаврилов, а среди поместных атаманов в 1618 году числился Юрий Токмаков. Имена «Ермак», «Ермачко» и производные от них географические названия, к примеру, Ермаково, Ермакова, встречаются в сотнях русских документов XV–XVI веков, относящихся едва ли не ко всем уездам Московского государства, что заставляет расстаться с сомнением А.Ш. Кадырбаева, будто самый, пожалуй, прославленный атаман времён Ивана Грозного и его преем-

СИБИРСКИМ ТАТАРИНОМ?

ника – «освятованного» Фёдора – был православным, ибо в отличие от своего соратника Черкаса Александрова не сменил имени. К тому же Черкас – вовсе не выходец из черкесов, так в позднесредневековой России называли запорожских казаков, а то и украинцев вообще, сотни которых несли службу московским государям и в Сибири. (Черкас же или Иван Александров, как выяснили Н.И. Никитин и В.В. Трепавлов, служил на востоке своей новой родины не в течение полувека, а вдвое меньше, командуя тремя сотнями тобольских конных татар.) А.Ю. Зуев и А.Ш. Кадырбаев напоминают и о том, что Ермак, возможно, появился на свет в деревне Борок, «Барак» же опять-таки у тюрков – обозначение собаки с длинной шерстью. Исследователи упускают из вида, что эта деревня располагалась в Подвинье, неподалёку от побережья Белого моря, то есть слишком далеко от тюркских владений, да и считать её родиной Ермака, пусть с оговорками, опрометчиво.

Сторонники новой версии происхождения атамана, «полк» которого одолел «салтана» Кучума, ссылаются и на использование «старейшиной» казаков в переписке с царём Иваном тюркской лексики, точнее, выражения «сеунч» – хорошая или победная весть, подарок (вознаграждение) за неё. Но о сеунче (так называли и донесение об успешном сражении) многие русские книжники писали задолго до экспедиции Ермака, например, сообщая о взятии Казани, Полоцка, разгроме крымских татар при Молодях. Кроме того, в послании казачьей «дружины» в Москву, о котором повествуют сибирские летописцы, начиная с Саввы Есипова, о сеунче не упоминается. Кстати, говорить о таком послании стоит сугубо предположительно, скорее всего (пользуясь определением видной исследовательницы сибирской книжности XVII века Е.К. Ромодановской), это «вымышленное обстоятельство» знаменитого похода за «Камень». В «Истории Сибирской» Семёна Ремезова – тобольского сына боярского, являвшегося и летописцем, и географом, и картографом, и художником, и зодчим, утверждается, что Ермак был «плосколиц, чёрн брадою и власы», иначе говоря, имел «внешность степняка», как думается Ю.А. Зуеву с А.Ш. Кадырбаевым. Они, однако, не учитывают, что Ремезов являлся современником Петра Великого, то есть приведённое уникальное описание облика атамана сделано спустя век с лишним после гибели Ермака Тимофеевича в устье Вагая. В этом описании вовсе не обязательно усматривать черты степняка. В новгородских кабальных книгах рубежа XVI–XVII веков, по наблюдениям известного историка середины прошлого столетия И.И. Полосина, сказано о «плосколицых» Захарии Степанове – сыне посадского человека (рядового горожанина) – и холопе князя Ногтева Агафонке по прозвищу Смирном. В тех же документах читаем о смуглолицых невольниках явно русского происхождения, как и Григорий Иванов сын по прозвищу Бык, который, оказывается, был «рожаем чермен» (чёрн).

Благодаря погодинскому летописцу, сохранившему немало оригинальных сведений о предыстории бессмертной казачьей эпопеи и «Сибирском взятии», мы узнаём о том, что экспедиция Ермака началась на берегах Яика, долина которого, подчёркивают Ю.А. Зуев и А.Ш. Кадырбаев, служила одним из центров ногайских владений. Но на Яике издавна обосновались и казаки, а в 1595 году там была даже сооружена русская крепость.

В одной царской грамоте Кучуму говорится, что от него «отстали» ногаи. Эта грамота, однако, относится ко времени, когда Ермака уже свыше десятилетия не было в живых, то есть запечатлела ситуацию (если, разумеется, доверять официальному сообщению), сложившуюся накануне окончательного разгрома русскими отрядами престарелого хана, отказавшегося сделаться вассалом московского царя.

Не более убедительно допущение Ю.А. Зуева и А.Ш. Кадырбаева, что гибель Кучума в Ногайской Орде – это месть за убийство Ермака. Предпочтительнее объяснение Саввы Есипова и его ближайших последователей: ногаи расправились с бессильным ханом, опасаясь, что по его следам в

татарских кочевьях появятся русские служилые люди.

Наконец, историки, отстаивающие версию о тюркских «корнях» Ермака Тимофеевича, указывают на то, что, согласно одной рукописи Строгановской летописи, приближённый Кучума Карача просил у атамана защиты не от «Казачьей», то есть Казахской, Орды (о чём сказано в других летописях вслед за синодиком или поминальным списком «ермаковых казаков»), а ногайских татар; стало быть, «в глазах Шибанидов (к которым принадлежали Кучум и его родственники) Ермак ассоциировался с ногаями». Этот вывод должен считаться произвольным, не говоря уже о том, что один из переписчиков летописи, созданной по заказу «именитых людей» Строгановых, вряд ли мог выражать интересы династии, примерно два десятилетия правившей «Сибирским юртом». Скорее этот анонимный книжник назвал хорошо ему известную Ногайскую Орду взамен непонятной «Казачьей», откуда, оказывается, явился в Сибирь Кучум. При этом в копии Строгановской летописи подразумевается не влияние, благодаря которому Ермак мог удержать ногаев от нападения на «улус» Карачи, а военная помощь, и, как уверяют сибирские книжники, по решению всего «товарства» (а не одного непобедимого «ратоборца») на выручку бывшему вельможе Кучума отправились четыре десятка казаков атамана Ивана Кольца.

Видеть в Ермаке подобно Ю.А. Зуеву и А.Ш. Кадырбаеву «наглядное подтверждение» того, что Сибирь была завоёвана «в значительной степени тюркскими руками», следовательно, преждевременно.

Мнение этих учёных о происхождении атамана, «дружина» которого сумела «сбить с куреня», казалось бы, могущественного хана, повторённое алматинской исследовательницей И.В. Ерофеевой (добавившей, что имя «Ермак» восходит к другому – «Ермек»), разделял и московский историк Л.Р. Кызласов, с той лишь разницей, что предлагал считать предводителя зауральского похода 1582–1585 годов не ногаем, а прирождённым сибирским татарином. Как думал видный историк, прославленный атаман был «знатным уроженцем» Сибирского государства, но юношей попал на Яик или Волгу, не исключено, очутившись в неволе у ордынцев, и в поисках свободы влился «в извечно интернациональную среду» казачьей вольницы. Л.Р. Кызласов тоже полагал, что нарисованный Ремезовым словесный портрет Ермака «вполне соответствует сибирско-татарскому смягчённо-монголоидному типу внешности, а отнюдь не славяно-русскому»; это присуще и «парсуне» начала XVII века (точнее, она написана спустя столетие). Авторы ранних «изображений» легендарного атамана не были, однако, его современниками, почему указанное «доказательство» едва ли возможно принимать всерьёз. Заметим, что в Ремезовской летописи казаки, покорившие «Кучумово царство», названы русскими, Ермак – русским воином, а в переданной её создателем речи «абызов» (мусульманских священнослужителей) – русским князем. Калмыцкий же правитель Аблай, воспоминания которого о «Сибирском взятии» приведены в этой иллюстрированной летописи, в обращении к отцу Семёна Ремезова Ульяну дважды объявляет Ермака «вашим». Историки, убеждённые в его тюркском происхождении, почему-то не цитируют сообщения той же летописи, что с бесстрашным атаманом («христианским воином») сражались «поганые», «бусурманы», татары (о чём говорится ещё в «Повести» Саввы Есипова), что на погребении Ермака присутствовали Кучум с мурзами, тогда же пояс и саблю казачьего «вождя» взял Карача, «абызы и мурзы... запретиша всем от мала и до велика поминать имя Ермаково, да задлится (то есть забудется) честь и слава, и могила его не явлена будет». По свидетельству Ремезова, Аблай-тайша рассказал, «как татара смертной завёт положиша, что про» Ермака «русакам не вещати», а когда первый тобольский архиепископ Киприан стал расспрашивать об атамане, имя которого навеки прославила зауральская экспедиция, «бусурманы по курану (Корану) своему потаиша». Уже Г.Ф. Миллеру был знаком документ 1630 года, показывающий, что сибирские татары осуждали Ермака как завоевателя. Хорошо известно, что в течение почти целого столетия после гибели знаменитого атамана наследники Кучума добивались восстановления его ханства, и нередко пользовались широкой поддержкой коренных жителей Сибири. Так, в начале XVII столетия они «умыслили, чтобы им быти себе государством, как было при Кучуме царе».

Вспомним также, что самое раннее документальное сообщение о Ермаке, известное исследователям, – это жалоба на угон атаманом в Поволжье 60 лошадей, с которой ногайский мурза Урмагмет обратился не к правителю Орды (бию Урусу), а в Москву.

Наконец, в синодике, основу которого составило «написание» «ермаковых казаков», их предводитель, якобы избранный Богом для завоевания «бесерменского царства», назван выходцем не из «славных муж», а «от простых людей». (Савва Есипов, возможно, беседовавший со сподвижниками «храбросердого» атамана, повторил это свидетельство.)

Стало быть, высказанное недавно суждение о принадлежности «покорителя» «Кучумова юрта» к тюркам – ногаям или сибирским татарам – как видно, пока не может считаться сколько-нибудь убедительным.

г. НИЖНЕВАРТОВСК

Яков Солодкин – доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории России Нижневартовского гуманитарного университета.

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН

Ты царь: живи один.
Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя
Свободный ум.
А.С. Пушкин

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна Господ.
М.Ю. Лермонтов

– Вот вы – русский! Да, очень, очень русский, – обняв Чехова за плечо, ласково улыбаясь, произнёс Лев Толстой.

Когда мне говорят, что я – русский природным наполнением, проза моя – русская, очень русская, написана хорошим русским языком, то это есть высшая оценка меня, человека, ремесла моего, и ничего иного уже не нужно.

Да и не мог я быть другим, потому как по пяти фамилиям русский, славянин. Славяне поляне предки мои, пришедшие на просторы будущей России с правого берега Днепра, спустившись туда с отрогов Карпатских гор.

Род отца – Городнищевы, Шамардины, Афонины – возник в предполагаемых калужских землях, а род матери – Брусовы, Постниковы – на земле Воронежской.

Городнищевы фамилией своей основали селение Городню, которая позже стала усадьбой аристократки Голицыной, знавшей якобы тайну трёх карт, что послужило Пушкину основанием написать произведение «Пиковая дама».

А Шамардины основали селение Шамардино, где со временем возник женский монастырь, а в нём долгие годы жила монахиня Мария Толстая, сестра Льва Толстого. К нейто сначала и решил... бежать октябрьской тёмной ночью 1910 года 82-летний граф.

Что касается Постниковых (род матери) и Брусовых, то я не смог выяснить, какую память оставили они о себе на земле Воронежской.

Оба рода в XX веке (Пётр Столыпин возглавлял правительство России) переселились за Урал, облюбовав степной Алтай, откуда их всех (пять фамилий) в пору образования колхозов, отняв нажитое, отправили под конвоем в ссылки, увозя в закрытых трюмах барж вниз по течению Оби, далеко на север, оставляя по берегам правых притоков, левых, размещая по землянкам страшных комендатурских зон, именуемых ссыльно-поселенческими районами.

Александр Городнищев, живописец, закончив успешно Академию, был на два года направлен в Италию для совершенствования природного дара, что и произошло, а за время это он ещё и овладел итальянским языком.

Возвратясь в Барнаул, где жил до поступления в Академию, стал заниматься творчеством. Когда же в России начался кровавый переворот, названный большевиками великой революцией, когда умерла при первых родах жена, он, сняв со стены живописный портрет её, освободил от рамки, свернул-скатал, положил в сумку, куда собрал самое необходимое, и скрылся ночью, оставив близким записку, прощаясь, поясняя необходимость отъезда. Он бла-

Д. Гомзяков (Талгат), С. Лепихина (Девушка).
Фото А. Зайковой

гополучно добрался до Италии, где продолжал-заканчивал жизнь.

Давно это происходило. Давно нет Александра Городнищева, далёкого родственника моего, но полагаю, что был у него в Италии брак, остались дети, сыновья, они-то и сохранили собой славянскую фамилию, передавая, передавая...

Когда я уже занимался литературой, являлся автором столичных, провинциальных журналов, то один из Брусовых, проживая на севере Сибири, куда сослали его отца, прочитав повесть «На болоте», узнав адрес мой, прислал письмо, а я, вскрыв конверт, держа в руке, запоненный волнением, вспоминал снова историю пяти фамилий, пяти родов.

Разыскал меня один из Шамардиных, самый молодой, потомок прямой тех, кто давным-давно основал в... Калуцкой губернии селение Шамардино. Слушая-наблюдая родственника, восстанавливал памятью разговоры тех, кто хорошо знал Алёну Егоровну Шамардину, мать моего отца, мою бабушку.

– Ты вот, Василий Егорович, вспоминаешь часто историю славянства, Руси-России. А помнишь ли бабушку свою, Алёну Егоровну?

– Немножко помню, – отвечал я.

– Ведь она – мать отца твоего, Егора Михайловича Афонина.

– Да, так оно и есть, – отвечал я.

– Вот кто славянка была истинно. И видом, и... всем собой. Вся Русь в ней. Рослая, статная. А волосы! Одни волосы что стоят! Прямо спеющий овёс и лён... воедино! Густые! Длинные! Плечи закрывали! Она их узлом собирала-стягивала ниже затылка. А говорила если, то и... молчи, слушай. Нет, не теперешний говор, а тот ещё, давний, славянский.

Время стремительно, будто... весенние потоки. Менялись поколения родов моих, менялись и отношения. Жизнь рассеивала их по Сибири-России, родственные связи слабели, распадались, терялся интерес поколения к поколению, постепенно забывалась история пяти фамилий.

Когда начинаешь земное существование, столь короткое, тёмное, необъяснимое, определённое зыбким понятием «жизнь», то в лучший период этой самой жизни, период отрочества, юности, первых лет возмужания, испытываешь повседневно невероятный интерес ко всему, что вокруг тебя и далее, к горизонту, вбирая зрением, слухом, сознанием, стараясь как можно больше познать, как можно шире-глубже-выше понять. И познаёшь. И понимаешь. Уж если не всё, то... почти всё.

Кипение твоё длится лет до 25–30, а потом начинаешь постепенно остывать. Нет, интерес к окружающему миру будет продолжаться лет этак до 40–45, а к 50-ти сделаешься равнодушным, заполняясь задумчивостью общей, печалью, растерянностью, тревогой. И чем ближе к окончанию земного пути, тем глубже печаль-растерянность. До тоски. До слёз-крика. До... До...

Но что же предшествовало разочарованию всего того, чему ты радовался, будучи ребёнком, подростком, юношей, будучи школьником и студентом, а потом – ещё годы, ещё. За периоды эти многое понял, во многое поверил сразу и оно сделалось своим. Во многое поверил сразу, но твоим оно не стало, растревожив своей вековой истиной. Во многое не поверил, и оно никогда уже не интересовало тебя.

Ты поверил, что Вселенная бесконечна. Это странно, страшно и непонятно. И невозможно представить. И не нужно: начинают болеть душа-сердце-голова.

Ты поверил, что история появления во Вселенной планеты Земля темна и никогда не будет разгадана, как и всё то, что есть на Земле, названное живым и растительным миром.

История появления на планете человека темна и никогда не будет разгадана, да, а человек есть самое страшное, самое злобное, самое кровавое, самое отвратительное существо, назначение кого – повелевать и уничтожать, чем он и занят с пещерных времён, затевая войны, не прекращающиеся по сию пору.

Ты поверил, что всяк человек есть ложь, а ложь – самое первое зло на земле, отсюда и все беды. Что мир – театр, жизнь – сцена, а люди – актёры, каждый из человеков что-то играет.

Ты поверил, что в поле ржи нет и двух одинаковых колосьев, на лугу – двух одинаковых травинок, на дереве – двух одинаковых иголок, листьев, а на песчаном берегу – двух одинаковых песчинок.

Ты поверил, что жизнь есть борьба. Повседневная. Постоянная. Многовековая. За место на земле, за выживание, за солнечный свет. Многослойная, начиная с трав, насекомых. Слой над слоем, слой над слоем. Один слой продолжает жизнь за счёт другого, пожирая его. Человек пожирает все слои, беря первый, травяной. И самая страшная, кровавая, беспощадная борьба – верхний слой, человеки. Здесь пожирание прямое и косвенное. Борьба за право повелевать, а кто не подчиняется повелению, того уничтожают. Борьба за властные кабинеты, где самое высшее бесстыдство, самая высшая ложь, самая высшая сытость, самая высшая сладость земного существования.

Ты поверил, что бытуют на земле две основные мысли: гуманитарная и техническая. Техническая сильнее и злее. Техническая мысль придумала телегу и парусную лодку, ветряную мельницу и музыкальные инструменты, радиотелефон-электричество. Но техническая мысль придумала ещё и ружьё, а оно стреляет, убивает.

Гуманитарная мысль слабее, уступает. Заставь гуманитарий землю университетами-

Сцены из спектакля «Прощание славянки» по роману Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Молодёжный театр Алтая

академиями, сущность человека не изменится, лживость-кровавость не исчезнут.

Техническая мысль погубит Землю. На Земле сегодня столько оружия массового уничтожения, что... страшно, страшнее страшного. Количество разнозначного оружия с каждым годом будет увеличиваться, а потом в один из дней времени произойдёт всеобщий взрыв. И на этом всё закончится. Государственная ложь закончится.

А жизнь так коротка. Удивительно коротка. Она должна являть собой естественную радость, являть собой праздник. И не лгать бы человекам, не предавать друг друга, не уничтожать, ведя борьбу за... сладость существования.

Мир – театр, жизнь – сцена, а люди – актёры, кого-то, что-то играющие. И ты актёр. И если уж не индивидуальная роль, то – вспомогательная. Массовые сцены. А если не играть вообще, оставаясь самим собой, развивая заложенное при рождении природой, проявляя постоянно самостоятельность, сохраняя чувство собственного достоинства? Не лгать, не предавать, не воровать, не заискивать, не стремиться (ты к этому абсолютно равнодушен) в кабинеты властные, основу земного благополучия, не вести борьбу, уничтожая кого-то, что-то? Развитие твоё должно носить естественный характер, с учётом и того, что ты – частица страшного механизма, государства. Можно ли так? Можно и нужно. Так – трудно, очень трудно, невероятно трудно, однако – так всё же лучше, нежели борьба, уничтожение.

Да, жизнь темна, она никогда не будет разгадана, она не имеет и малейшего смысла. И здравее было бы не появляться на свет вообще. Но ты появился, ты с детства втянут в игру-борьбу, а тебе это не нужно, неприятно до... боли душевной. И выхода никакого. Два варианта: или терпи до дня последнего, намеченного той же природой, или уходи сразу же, как только поймёшь бессмыслие всего земного. Когда бы человеки по земле всей были умны, честны, благородны, миролюбивы, тогда сохранялось бы повсеместно полное взаимопонимание, не было бы войн, не было бы необходимости государства. Границы территорий народов носили бы условный характер, тогда каждый человек жил бы для себя, радуясь, трудился бы на себя, блаженствуя, а не на огромную кабинетную пирамиду государства. Но всё как раз наоборот.

И вспоминаешь невольно одного европейского мыслителя, сказавшего о человеках, что самое лучшее для них, если бы они вообще не проявились на земле.

Что касается «Прощания славян», то будучи славянином, произнося это, я думал о всех славянах, кто, составляя собой Русь-Россию, погиб, защищая землю свою в разных войнах разных времён, кто был убит своими же в 1917 году, это – начало, длилась гибель славян по России десятилетия. Кто успел уехать до 17-го, позже. И сколько их было всего, живых и мёртвых. И сколько покинуло Россию за последние лишь два десятилетия существования отечества славянского. Деревень исчезло 20 тысяч, по тысяче каждый год, а сколько оставило русских Россию – неизвестно. И сколько инородцев южных-восточных переместилось с земель своих на землю славян. И чем они заняты. И зачем они нужны. И почему так свободно заполняют Русь-Россию.

И как жаль, что нет с нами, славянами, Михайлы Васильевича Ломоносова, гордости искренней, а будь, то подал бы, конечно же, правителям сегодняшним «Письмо» о прямой необходимости сохранения, размножения народа российского, как сделал это в 1761 году. И нет Петра Столыпина, абсолютно государственного человека, а будь, то никогда не допустил бы немыслимых безобразий, заполнивших Отечество с... с... года по причине беспомощности кремля. И что с Россией произойдёт завтра, послезавтра? Сохранит ли она себя?

Самое сильное моё жизненное сожаление: почему не умер голодной смертью зимой 1947 года. Две сестры уже были похоронены, настал мой черёд, но я чудом (ранняя весна, а в ней крапива) выжил. Через два года похоронили третью сестру. Жизнь, которую продолжаю по сию пору, мне никак не нужна. Время не моё.

Василий АФОНИН

г. ТОМСК

Переселенцы и аборигены
Перемешались — вышел новый род.
В каком колене и какие гены?
Не разделяй! Нас больно это бьёт.

Мы сохраним все корни без изъяна,
Язык легенды, танца полужест.
О, подскажи, таёжная поляна,
Как вспомнить тайну этих мест.

Ну а душа по-прежнему едина,
Вне времени и места, и навек
В её «графе» одно неистребимо
Читается и чтится — Человек.
Мария Дечули

Вот уже двадцать лет в конце октября я с сыном уезжаю на зимний охотничий промысел. Его участок находится на границе Тугуро-Чумиканского и имени Полины Осипенко районов. Это север Хабаровского края. До краевого центра около тысячи километров.

После окончания звероводческого отделения Уссурийского сельскохозяйственного института сын не стал работать по специальности, а устроился штатным охотником в Осипенковский охотпромхоз. Уже давно нет этого хозяйства. Вместе с развалом СССР развалилось и оно. Появились разного рода охотничьи общества в виде ООО, ОАО. Главная цель руководителей этих хозяйств была одна: скупить у охотников за бесценок пушнину и получить как можно большую прибыль. Всё остальное их мало интересовало. На глазах погибал традиционный для народов Севера вид хозяйствования.

Но несмотря на трудности и сложности, связанные с заброской на участок всего необходимого, мизерные заработки, ни в какое сравнение не идущие с расходами на покупку снаряжения, транспорта, продуктов, топлива, сын не оставлял занятия своих предков. Я видел, с каким нетерпением ждал он открытия сезона. С наступлением холодов всё чаще и чаще вглядывался в заснеженные вершины гор, ещё и ещё раз осматривал давно подготовленную к долгому пути лодку, перебирал в который раз капканы, осматривал и смазывал до блеска начищенные ружья. Его неотвратимо звала на таёжные тропы внутренняя природа, уходящая корнями в глубокую древность.

От посёлка до центральной базы участка около ста пятидесяти километров. Совсем рядом – побережье Охотского моря. До Тугура, древнейшего эвенкийского поселения, всего девяносто километров. Участок – территория исторического проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера.

Не одну тысячу лет наши предки вели здесь выпас оленей на богатых ягелем пастбищах, занимались охотой на пушного и копытного зверя. Через эти места шли к морю русские землепроходцы, расширяя пределы Российского государства.

Что бы ни говорили о древности той или иной профессии, профессия охотника-промысловика, конечно же, самая древняя и, несомненно, самая трудная и опасная. Каждый день приходится преодолевать не один десяток километров, выслеживая зверя, проверяя и настораживая ловушки и капканы. Очередное зимовье, где предстоит ночёвка, встречает обычно дверью, засыпанной сугробом снега, промороженными насквозь стенами. Пока разгорается камин, нужно быстро сходить за водой, приготовить всё, чтобы сварить ужин. И вот наконец долгожданная минута – ты в постели, прогретой у камина. И сон, сон крепкий, исцеляющий. А утром, как обычно, первичная обработка пушнины и снова в путь.

И всё же во время долгого зимнего промысла мы много читали. «Дни всеобуча» наступали, когда приходила непогода. Пурга иногда длилась по нескольку дней, и выходить на путик было опасно. Здесь, у моря, начиналась Эворон-Чукчагирская впадина. Это была природная аэродинамическая труба, в которой проверялись на прочность вековые деревья. Старые, отжившие свой век, больные, чаще всего когда-то раненные человеком, они с шумом и грохотом валились на землю, превращаясь в бурелом, через который порой невозможно было пройти.

Читали мы в основном старые журналы. Они были в каждом зимовье. В ящиках, стоящих под нарами, можно было найти разрозненные комплекты таких журналов, как «Огонёк», «Вокруг света», «Москва», «Нева», «За рулём», «Новый мир», «Работница», «Крестьянка», «Здоровье», «Континент», «Роман-газета» и многих других. Перед отправкой на промысел сын шёл в районную библиотеку, где ему готовили очередную партию «чтива» из журналов, срок хранения которых закончился, а

также списанных книг (почему-то обычно списывали произведения русских и зарубежных классиков XIX века).

В 2007 году в дни очередного «погодного сидения» в одном из ящиков я обнаружил журналы, которые никогда до этого не видел и никогда о них не слышал. Видимо, попали они в нашу таёжную библиотеку с новым пополнением. Журнал назывался «Свет» («Природа и человек»). В выходных данных его значилось: «Ежемесячный общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения». Я просмотрел содержание всех журналов и остановил свой выбор на журнале под номером 10 за 2003 год.

Среди материалов, опубликованных в нём, меня заинтересовала статья «Существуют ли расы?» Автор её Юрий Гук, высказывая свою точку зрения на причины возникновения рас, утверждал, что на заре человечества никаких рас не существовало и многие современные народы, которые в настоящее время говорят на совершенно разных языках, в далёкое доисторическое время говорили на одном языке. И

Нерест лосося.
Александр Дятала

язык этот был языком охотников на мамонтов.

В статье упоминался ряд учёных-лингвистов, которые занимались проблемами праязыка и, в частности, российский языковед В.М. Иллич-Свитыч. Впервые я узнал, что многие языки мира объединены в группу, названную ностратической, и что Иллич-Свитыч много сделал для разработки теоретических и практических основ этих языков. Всё то, что излагалось в этой статье, было настолько ново и интересно для меня, что я решил при первой же возможности познакомиться с теориями и гипотезами, которые упоминал автор статьи.

Случай! Как часто, вторгаясь в судьбу человека, он в корне меняет его жизнь. В одночасье соединяет, казалось бы, разных людей, и они в гармонии проходят свой жизненный путь, путь, который мог быть совершенно иным для каждого. Порою случай приводит к непредсказуемым последствиям, к разрушительным войнам, к гибели миллионов людей. Случай, вложивший в таёжной глуши в мои руки журнал «Свет», заставил меня, человека, уже перешагнувшего семидесятипятилетний рубеж, погрузиться в мир, где непрестанно идёт поиск убегающей от нас истины, истины, которая хранит в себе ответ на вопросы, кто мы, откуда мы, не прервалась ли нить времён, связывающая нас с нашими истоками. Этот случай вернул мне силы, покидавшие меня в разные годы чаще всего по моей же вине.

В послевоенные годы прошлого века на подготовительном, а потом основном Северном отделении Хабаровского педагогического института, где учились мы, дети народов Севера, приехавшие из отдалённых сёл Якутии, Забайкалья, Приморья, Приамурья, Сахалина, Чукотки, Камчатки, Алеутских островов, наука о языке была заключена в строго очерченные рамки: учеников, а потом и студентов-северян, нужно было в первую очередь научить грамотно говорить и писать по-русски. Всё остальное, касающееся языка, было выведено за пределы учебного плана. Академичности в преподавании и русского, и родных языков практически не было.

Педагогический коллектив института с поставленной задачей справлялся успешно. С благодарностью вспоминаю Ольгу Викторовну Аристиди, Клавдию Парфентьевну Хомутову, Павла Николаевича Богоявленского, Надежду Фёдоровну Пучкову, Людмилу Андреевну Снурникову, Сергея Иннокентьевича Красноштанова, Лидию Ивановну Сем, Тамару Зосимовну Пукшанскую, Кириса Кангановича Киле, Василия Фёдоровича Панкарина, Агнию Васильевну Романову, Нину Алексеевну Богданову и многих, многих других преподавателей, прививших нам, детям тайги и тундры, любовь к языку и литературе, которые являются основой культуры любого народа.

Уже летом 2007 года я держал в руках книгу В.М. Иллич-Свитыча «Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь. b – K». После первого знакомства с содержанием книги, с теорией ностратических языков у меня возникло много вопросов, ответы на которые могла дать только специальная литература. И я стал искать её. Оказалось, что ответы на многие вопросы (однако далеко не на все) уже давно найдены, правда, часто они были лишь гипотетическими. До сих пор никто не может сказать, что же такое язык, почему языки изменяются, как устроен язык и как он функционирует, существовал ли единый праязык человечества. Я узнал, что современная лингвистика тесными нитями связана с такими науками как философия, психология, логика, математика, социология, история, геология, анатомия, генетика и многими, многими другими. Не говорю уж о таких науках как археология, этнография, антропология.

Конечно, основательно вникнуть в тонкости языковых закономерностей, особенно связанных с ностратической сравнительной фонетикой и морфологией, на основе которых В.М. Иллич-Свитыч вёл реконструкцию форм ностратического языка и создавал свой сравнительный словарь, я не мог. Для этого нужны были профессиональные знания, а их у меня не было. Но знакомство с таблицами языковых соответствий шести праязыков, опубликованных в введении к словарю, и с самим словарём подтолкнуло меня обратиться к словарю ульчского языка, включённого в монографию Т.И. Петровой «Ульчский диалект нанайского языка». Монография была издана в 1936 году. Словарь был составлен на основе латиницы, которая более точно передавала звуковой строй ульчского языка, чем словари на основе русской графики.

К большинству из 245 реконструированных Иллич-Свитычем ностратических слов я нашёл соответствия в современном ульчском языке. После знакомства с нанайско-русским словарём С.Н. Оненко и русско-эвенкийским словарём Г.М. Василевич захотелось узнать, когда же разошлись эти языки. Я понял, что ностратическая теория Иллич-Свитыча может по-новому осветить многие вопросы, связанные с происхождением тунгусо-маньчжурских народов Приамурья и Приморья.

Основу знаний об истории коренных малочисленных этносов Дальнего Востока заложил нам, студентам-северянам, Николай Иванович Рябов, который на основном Северном отделении пединститута вёл небольшой курс «История, этнография народов Крайнего Севера». Мы с радостью встречали этого большого доброго человека и, затаив дыхание, слушали его увлекательные рассказы о государстве Бохай, о народах, населявших в прошлом Приморье и Приамурье – *мохэ, чжурчженях, дючерах, даурах*, о их самобытной культуре, об археологических раскопках, которые вёл известный археолог А.П. Окладников, о людях, живших в неолите на берегах Амура, которых учёный называл *ихтиофагами*.

Сегодняшние знания о языках народов мира, основанные на современных достижениях многих наук, позволили переосмыслить некоторые утверждения учёных-лингвистов XIX, первой половины XX веков, связанные с происхождением отдельных этносов, развитием и формированием их языка, оценкой близости родственных языков и т.д. Конечно, при знакомстве с ностратической теорией языков я в первую очередь хотел уяснить, что нового может дать эта теория, исследования, проводимые её сторонниками, для изучения языка, культуры, вопросов происхождения народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Не скрою, больше всего меня интересовала в этом плане этническая история ульчского народа.

Знакомство с литературой, раскрывающей положения ностратической теории, совпало по времени с моей работой над книгой «Встречи с отцом». Мой отец был активным участником тех дискуссий, которые велись в 30-е годы прошлого века учёными северного факультета Ленинградского восточного института им. А.С. Енукидзе, а потом Института народов Севера им. А.И. Герцена. Дискуссии эти, в основном, были связаны с проблемами создания письменности для языков народов Севера. Разногласия существовали по многим вопросам. Например, на основе какой графической системы (латинской или русской) создавать письменность для народов, письменности не имеющих, какие языки народов Севера считать настолько родственными, что для их изучения можно готовить общие пособия. Единым языком, например, были признаны языки нанайцев и ульчей, относящиеся к южной подгруппе тунгусо-маньчжурских языков. По плану Северной секции Дальневосточного комитета нового алфавита, который возглавлял В.А. Аврорин, началась работа по составлению и изданию учебных пособий для национальных школ Нанайского и Ульчского районов, формированию единого литературного языка для нанайцев и ульчей.

В 1936 году в издательстве «Художественная литература» под редакцией Т.И. Петровой выходит перевод сказок А.С. Пушкина на «нанайско-ульчский литературный язык». Перевод осуществили А.Оненко и С.Сипин.

Эксперимент по созданию единых пособий для обучения школьников на нанайском и ульчском языках не увенчался успехом. Использование изданных для этих целей учебных пособий в Ульчском районе нередко приводило к курьёзным случаям, которые порой заканчивались скандалами и нежеланием родителей отдавать детей в школу.

История не приемлет сослагательного наклонения. Но, работая над книгой об отце и одновременно знакомясь с литературой, посвящённой ностратической теории, я думал: если бы в 30-е годы прошлого столетия в языкознании уже существовала в достаточно разработанном виде эта теория, то ни при каких обстоятельствах одно и то же пособие не издавалось бы для обучения двум разным языкам. Конечно, ещё не так давно и нанайцы, и ульчи говорили на одном языке, но со временем носители его в силу разных причин разошлись, обособились. Сформировались два разных языка, и к моменту появления на Амуре русских землепроходцев они уже были таковыми. Сегодня это признано наукой о языке. А тот единый язык, на котором в далёком ностратическом прошлом говорили предки нанайцев, ульчей, а также других коренных малочисленных народов Севера, Приморья и Приамурья, – это их праязык.

ДОМА РЕВЯКИНА, КОТОРЫЙ ЛЕЧИТ РАНЫ

Внутридинамический шум поэзии Дмитрия Ревякина пытается и «корчевать корни страха земного», и касается дождя, который «лечит раны», и ведёт задушевный разговор с «прошедшими веками», где «болезни вздыхают, огрызаясь», и где «ворон взмахом крыла сокрушил твои крепости».

Впечатление, что поэзия Ревякина расползается на буквы, на слога, на словосочитания и волшебным каким-то свойством удерживается в книге под названием «Кольца алые».

Эта книга долго лежала у меня на столе, прежде чем я её открыл. В ней существовал какой-то притягательный момент. Может быть, графика Владимира Распутина на каждой странице, дополняя стихотворение, действовала вместе со стихотворением.

Читать стихи Ревякина – это думать и думать, сопереживая всем телом с его задумчивостью голоса, лиричностью и масштабностью одновременно. Не каждому поэту такое дано.

Хотя легко было отвлечься на шум проезжающих машин. Это лёгкий признак того, что некоторые стихотворения, как прутики, немного надломлены.

Шаг за шагом вместе с поэтом читатель идёт к большому пониманию мира:

Успокоение –
это смиренная гордыня
И слёзы брата
блёстками в глазах.
Как повздорили крепко
с ним,
А он в ответ обнял меня
неловко.

Этому веришь. Это искренне. Ревякин прикасается к теме, как будто боится сдуть пыльцу с красивого цветка. На мой взгляд, это правильное решение сложных небесно-земных задач, которыми и занимается искусство. Замедленные интонации добавляют силы словам.

Где камнепады замерли,
Где травы скошены серпом
безвинно,
Где белые ручьи уносят
запах пряный –
Тропой едва приметной
проходил.

Виден характер поэта – надменно-сдержанный, который и является, видимо, невидимым инструментом, которым изящно владеет поэт.

Проживание в суровой Сибири закалило и утончило восприятие больших понятий и зримо конкретных деталей, которые живут в стихах самостоятельной жизнью, имея для этого свой, ими только ведомый «социальный пакет». Детали одного стихотворения влияют на детали другого стихотворения, где бы они ни были – в начале или в конце книги или вообще в голове и чувствах Ревякина ещё в непридуманном стихотворении.

Где каждый день
Как пропасть.
Бросаешься туда
И принимаешь бой
с самим собой.

Здесь я вспоминаю книгу Дмитрия Чёрного «Выход в город» тоже в совершенно как ночь чёрной обложке, чьи стихи тоже не имеют, как и время, срока годности.

Покой запомни этот день
Девятнадцатое марта.
Весна остановилась
Тяжёлым облаком
со снегом.

Чёрная обложка книги «Кольца алые» Дмитрия Ревякина и чёрная обложка, как чай из чаги, Дмитрия Чёрного долго будут лежать на моём письменном столе, сливаясь ночью с большим городом, в домах которого потушен свет.

Михаил АНДРЕЕВ

ПОКА ЗЕМЛЯ ЕЩЁ ВЕРТИТСЯ

Виктор Астафьев

Как раз об эту пору в ноябре двадцать лет назад, в 1991-м году, Виктор Петрович поставил точку в «Последнем поклоне». Начатый в 1957-м году светлой и грустной, ещё немного литературной «Далёкой и близкой сказкой» и бесхитростной, почти детской «Зорькиной песней», «Поклон» потом медленно темнел. Свет ещё вспыхивал там и там, даже и посреди самых драматических глав (какой бы это был Виктор Петрович, если бы не ухватывался за каждый промельк света, чтобы смеяться, смеяться, как умел только он?), но с годами горечь и тяжесть копилась скорее – родная история постаралась, чтобы сумерки одолели и его золотую, кажется, только радости открытую душу.

Я перечитывал «Поклон» раз пять. И по выходе очередной книги, и когда приходилось писать предисловия к молодогвардейскому, так и не законченному из-за слома перестроечных лет собранию сочинений, и к отдельным изданиям. И всегда жизнь защищалась во мне и норовила остаться на светлой стороне «улицы». Но Виктор Петрович не пускал к самообману. И скоро я стал замечать, что как я «заупрямлюсь», так сама матушка-природа станет на его сторону. Вот, скажем, тяжелее всего мне давалась, может быть, одна из самых страшных глав «Без приюта», где брошенный отцом мальчик (мать утонула раньше) пытается жить один в летней парикмахерской, приворовывая овёс у лошадей (надо же что-то есть), а то и кусок хлеба в

магазине, топя печку полом (откуда напасёшься дров), потому что парикмахерская-то летняя, да на дворе лютая сибирская зима. И вот читаю, как лупит мальчик учительницу в кровь голиком (он спит на уроке, у него вши, и учительница тащит его за шиворот и брезгует им), и не знаю, как остановить мальчика, как не ожесточиться вместе с ним.

А читаю в тепле, в кабинете Виктора Петровича в Красноярске, и подумываю, что можно было бы не доходить до свирепой физиологии. И тут посреди только что солнечного апреля дом разом вздрагивает от налетевшего за окном совершенного безумия. Обрушивается мгновенная тьма. Снег летит горизонтально, рвёт деревья с одушевлённой свирепостью, сбрасывает птиц, ломая крылья и, кажется, вот-вот и дом не устоит. Сердце сжимается от бессилия и ужаса. И я вдруг отрываюсь от окна и внезапно совсем не к месту, позабыв время и день, думаю: а как там он? Каково сейчас мальчику там, в летней насквозь прорванной ветром парикмахерской с мёрзлой землёй вместо пола, с мышами, которые норовят пробежать по лицу? И остро понимаю, что писатель ещё жалеет меня, чтобы не надорвалось моё набалованное благополучием воображение. Ну что, дурак, понял?

И потом уже вся смущающая вторая часть «Поклона», вся тьма коллективизации, массового человеческого истребления и навсегда стронутой невозвратной жизни (которую ты и сам как-то особенно жалеешь, потому что застал эту жизнь в «Поклоне» в ещё святые часы неповреждённого земного порядка) оборачивается к тебе не отвлечёнными страницами учебника новейшей истории, а прямой человеческой бедой. И сразу легко понимаешь, почему Виктор Петрович так ожесточался на «Поднятую целину», за которую, любя «Тихий Дон», не мог простить Шолохова. Это родная Овсянка, искалеченная жизнь всех близких и дальних людей, которые были его вселенной (а по мере чтения становились и нашей), уже не давала уступить правды. В правде мизинец уступи – и нет русского художника. И вот плачь, сопротивляйся, сожми сердце, но уже читай как есть, не обманывай себя другими благополучными книжками, чтобы тебя потом так же не сдёрнуло тьмой, как закричавших от ужаса птиц за окном.

Заряд пролетел, и мгновенно развиднелось, словно и не было ничего. Но обломанные вершины и разом захламлённый лес за окном уже не дали обмануться, что всё «примстилось», уже научили тебя не прятать глаза от правды, чтобы не предать овсянских «гробовозов», которых хорошо любить в крепкую пору жизни, да трудно, когда воцарятся «революционные» Болтухины и человека силой потащат к смерти.

Сразу поймёшь, и почему, как доходит до партийного начальника, так художник забывает чернильницу, а макает перо прямо в помойное ведро и не может остановиться, потому что для него это они, они сломали свет жизни. И как мальчик лупил училку Ронжу голиком: не видела, как топчут на базаре карманников сапогами, как пинают в живот беременных жён мужья, как пропивает последнюю копейку отец, а его ребёнок сгорает на казённом топчане от болезни? Не знаешь – узнай, проникнись! Так и этих он тем же голиком: не знаете, что сделали с жизнью? Узнайте!

Сколько он слышал злого после «Проклятых и убитых» не от одних ненавистных «политруков и комиссаров», а и от старых солдат, успевших позабыть в сердце кровь и ожесточение и спасительно обучившихся видеть в минувшем только юность и победу. Сколько сам я корил его за жестокость «Печального детектива», за физиологию «Людочки», за злые «затеси», где человек был страшен и не видел своего падения. Сами «гробовозы», узнавая себя, тоже нет-нет стучались у его порога: чё уж ты нас так-то? А это, странно сказать, и в нём защищался свет, книжки несчётные, которых он с детства перечитал видимо-невидимо всегда детским сердцем, свято веря в правду благородных пиратов и «прынцев», рыцарей и страдалиц. Отчего привычная тьма вокруг, которая успела стать бытом, казалась ещё несправедливее и темнее.

Неизживаемая детская, сиротская вечная детдомовская обида до конца дней не могла выгореть в сердце. И если это сердце всё-таки не дало ожесточить и потерять себя, то потому, что в свой час успел поселиться в этой душе незаслоняемый свет, что была бабушка Катерина Петровна, были родные страдалицы тётки, было там и там, вопреки злу мира, встречаемое добро, которое он видел, по слову чужого ему поэтикой, но любимого Милорада Павича, «как ястреб цыплёнка». И он никогда не пропускал этого добра, чтобы тотчас не отблагодарить, не восславить, не засмеяться при самомалейшей возможности увидеть радость.

Так в нём и жили два человека и писали, как у того же Павича, один мужские, другой женские страницы книг, но зато уж когда они обнимались, то выходили «Ода русскому огороду», «Звездопад», «Пастух и пастушка». И тогда являлось целое человечество его родных, которые теперь и наши родные, вместе с Енисеем, травами и птицами, которых он всех знал в лицо и последним писал их так подробно («доцветали сон-трава, медуница и стародубы, обуглились мать-мачехи, занималось пламя жарков, раздувало пламя дубравных ветрениц»), словно отряжал их нам в духовном завещании, предчувствуя, что мы скоро окажемся в безвоздушном пространстве мёртвой умозрительной

литературы, где человек бьётся в душной тесноте офисов и квартир, в которых никогда не открываются окна, потому что, открыв, надо будет уметь написать облако и ветер, жизнь реки и неба, дерева и птицы, которые не зря делят с человеком землю и без которых он только слепая фигура шахматной партии, где белые (а чаще чёрные) начинают и выигрывают. А мы проигрываем, проигрываем...

...Мне хорошо и грустно читать «Последний поклон». Я знаю стародубы, прижившиеся в его огороде под кедром, и пытающиеся цвести венерины башмачки между окном и заплотом, и «самотёком» проползший на огород куреслеп вдоль забора. Знаю, как горбится напротив Овсянки Караульный бык и как возносится над Слизневкой Шалунин бык, к которому прибило его измытую за девять дней Енисеем покойницу мать. Бревно, на котором мы сиживали над Енисеем (я в его великоватой мне рубахе: «Носи, мне мала!»), так и лежит уже сколько лет, не уносимое не знающей ледохода связанной человеком рекой. Разве забор по обе стороны спуска к реке от его проулка покосился и жалица вот-вот сожрёт его. А по нему ещё хаживала за водой (летом по сорок вёдер в день) бабушка Катерина Петровна и уходит на последней странице альбома «Прощание» он сам.

И родные его, слава богу, все живы для меня. Тётка Апроня (Апраксинья Ильинична) всё высматривает из своего окна, кто завернул к Виктору Петровичу («опеть жульнариска?»). И им всё хорошо поётся в моей памяти, когда она после «пеньзии» заворачивает к нему с чекушкой. Это у неё, в бывшем бабушкином дворе, я впервые увидел в ведре енисейской воды «живой волос», на какое-то время отвадивший меня лазить в ледяной Енисей («Во, гляди, гробовозы, ничё крытикам не делатся. Ничё имя не страшно – поедом потом писателев едят»). И всё смеётся его счастливый глухонемой брат Алёша («Ви-и-итя!»), без конца чего-то ладивший в его избе и умерший за год до Виктора Петровича («умер, как и жил, незаметно, во сне... Как я теперь в деревне буду чувствовать себя без Алёши?»). И совсем ослепшая тётка Августа всё двигает ощупью чугунки на плите, и я лезу помочь и получаю от него по рукам: «Не тронь! Она потом их не найдёт. А коли такой добрый, оставайся и живи тут, гуманис хренов!»

И с дядей Кольчей-младшим мы всё курим на крыльце после бани, пока Анна Константиновна под лиотаровской «Шоколадницей», вырезанной из «Огонька», накрывает на стол. И когда умирает дядя Коля, всё отворачивает, отворачивает его портрет: «Чё всё глядишь, Коля? Скорей бы уж взял к себе».

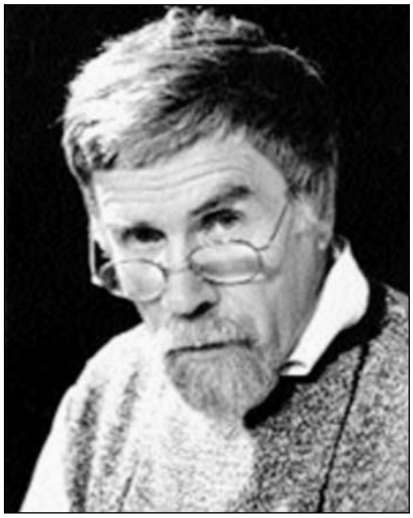
Теперь все они там, недалеко от него, на одном кладбище, и можно, поклонившись ему, поклониться и им, так незаметно и прочно вошедшим в нашу жизнь с «Последним поклоном».

Дал бы Бог ещё раз приехать в Овсянку. Я зайду в его избу на улице «Партизана Житинкина», немного погоржусь, найдя себя в рамке семейных и дружеских фотографий, обниму его сестёр Капу и Галю (от Августы Ильиничны и Анны Константиновны), которые теперь смотрят за музеем. И опять поверю, что смерти нет. Что Виктор Петрович сейчас придёт с Енисея, на котором сидит всё реже («лёгкие никуда»), и мы станем пить чай («чай, чай, эту заразу сёдня пить не будем»), а потом он достанет рукопись, вденет очки и станет глуховато и как-то бережно, как чужое (будто каждое слово ещё раз примеривает), читать: «Это было в пору, когда всё казалось радостным и от жизни ждали только радости. В немыслимо яркий ослепительный день спешил я в родную деревню... И в сердце моём, да и в моём ли только... глубокой отметиной врубится вера: за чертой победной весны осталось всякое зло, и ждут нас встречи с людьми только добрыми... Да простится мне и всем моим побратимам эта святая наивность – мы так много истребили зла на земле, что имели право верить: на земле его больше не осталось». А войдёт в книгу бабушка, и он засветится весь – не узнать: «выходило, что сватали Маню наперебой... сколько раз в кошеве приезжал из города сам Волков! А она, раскрасавица наша, чё? Да ничё! Даже на письмо его не ответила. А уж письмо-то было, письмо! Как в старинной книжке писанное – сказывалось всё в нём, будто в песне: любоф, любоф, да ещё эта, как её, холера-то? Чуства. За божницей долго письмо хранилось, и как навёртывался грамотный человек, она просила его читать. И наревётся, бывало, слушая то письмо, да эти враженята, внученьки дорогие, добрались до письма, изрезали ножницами, либо сам искурил. Чё ему чуства? Токо табак жечь да бока пролёживать...»

А я буду слушать со смятением, восторгом, счастьем (даст же Господь дар!) и молить Бога, чтобы это никогда не кончалось, потому что пока живёт это слово и этот человек, живы и мы. А уйдёт, ещё неизвестно, что будет.

Но пока, слава богу, он читает, читает...

г. ПСКОВ



Валентин КУРБАТОВ

ЧТО ИСКАЛИ НЕМЦЫ В АНТАРКТИДЕ

Атлас мира, существующий в сознании носителей массовой культуры, далеко не полностью соответствует его политической карте. Антарктида, например, хоть официально и не принадлежит ни одному государству, воспринимается адептами «эзотерического гитлеризма» как территория спрятанного подо льдом Четвёртого рейха, имеющего в своём распоряжении фантастически мощный технический арсенал. Последний, если верить жёлтой прессе и телевизионным таблоидам, состоит не только из шныряющих косяками подводных лодок, но также из летающих тарелок, межпланетных космических кораблей, приручённых шаровых молний, белокурых самовоспроизводящихся андроидов и прочих парней из пекла.

На роль разрушителя всех этих легенд вполне может претендовать недавно вышедшая книга известного историка Андрея Васильченко «Загадочная экспедиция. Что искали немцы в Антарктиде?» (М.: Вече, 2011). Перед нами, правда, не полноценная монография, а сборник материалов. Ядром всей книги является республикация воспоминаний Эрнста Херманна «Немецкие исследователи в Антарктическом океане: Отчёт о Немецкой Антарктической экспедиции 1938–1939 года», впервые напечатанных в 1941 году в Берлине. Данный текст выбран, разумеется, не случайно. Дело в том, что именно экспедиция, в которой в качестве географа участвовал Херманн, стала одним из основных элементов мифа об Антарктическом рейхе: ей приписывают создание пресловутой «Базы 211», якобы приютившей Гитлера и других нацистских бонз после войны; открытие южного входа в Полую Землю, строительство заводов по производству дисковых летательных аппаратов, контакты с инопланетянами и многое другое.

Воспоминаниям Херманна предшествует подробный очерк самого Васильченко, посвящённый как «закадровым» аспектам Немецкой антарктической экспедиции, так и связанной с ней мифологии. Завершает же книгу

интервью, взятое в 2004 году у одного из соратников Херманна, Зигфрида Заутера.

Внимательное изучение всех этих текстов позволяет прийти к выводу, что плавание корабля «Швабия» к Земле Королевы Мод было предприятием сугубо утилитарным, полностью лишённым эзотерической романтики и нацеленности в «потустороннее». Изначально перед экспедицией ставилось несколько конкретных и узких задач: изучение возможности налаживания китобойного промысла в антарктических водах, проведение научных наблюдений (на борту «Швабии» кроме географа находились биолог, геофизик, океанограф и два метеоролога), аэрофотосъёмки и картографирования. Ни представители «Аненербе», ни какие-либо чины СС в экспедиции, организованной Имперским правительством Германии, участия не принимали. Больше того, никто из людей, находившихся на «Швабии», никогда не высаживался на антарктический материк, ограничиваясь краткими прогулками по прибрежному шельфовому льду. Обследование территории, окрещённой немцами «Новой Швабией», происходило с помощью двух гидросамолётов «Дорнье-Валь», принадлежавших компании «Люфтганза».

О том, что Немецкая антарктическая экспедиция не имела и тайных целей расово-генетического толка, будто бы заключавшихся в выведении на Южном полюсе особо прочной породы истинных арийцев, красноречиво говорит её национальный состав. Отец корабельного юнги Гельмута Дукачова был, например, русским солдатом, попавшим в немецкий плен в 1914 году и не пожелавшим возвращаться в Россию после революции. У самого Гельмута, как это следует из воспоминаний Херманна, наблюдались явные «рецидивы» чисто славянского отношения к миру: он постоянно читал «все книги, что получалось достать», сознательно пренебрегал возможностью «зарабатывать кучу денег» на берегу («У меня ощущение, что они не сделали бы меня счастливым»), испытывал неодолимую тягу к приключениям и конфликтовал с приземлённой матерью-немкой, требовавшей, чтобы сын «крепко стоял на ногах». Кроме того, Гельмут признавался Херманну, что «совершенно не скучает по Родине». Вряд ли консультанты и помощники Генриха Гиммлера, имей он отношение к организации Антарктической экспедиции, удовлетворились бы таким «резюме».

Какую же осязаемую пользу принесло Третьему рейху плавание «Швабии»? Были ли хоть как-то востребованы Имперским правительством результаты экспедиционной работы? На подобного рода вопросы необходимо, видимо, дать отрицательный ответ. Единственным материализованным итогом Немецкой антарктической экспедиции, доступным пониманию и высших лиц НСДАП, и рядовых жителей Фатерлянда, стала героическая доставка пингвинов в Берлинский зоопарк. По словам Васильченко, это был первый случай, когда пингвины добрались до Северного полушария живыми и здоровыми. Нельзя, впрочем, отделаться от ощущения, что экипаж «Швабии», самоотверженно ухаживавший за капризными обитателями Антарктики, бессознательно стремился искупить вину Эриха фон Дригальского, устроившего в 1903 году настоящий пингвоцид (командуя парусником «Гаусс», Дригальский распорядился использовать «горящие части тел пингвинов» как топливо).

Конечно, непосредственные участники экспедиции несколько иначе оценивали свой вклад в дело процветания Великого германского рейха. Новую Швабию, разглядываемую с палубы корабля или через иллюминатор гидросамолёта, они всерьёз считали первой немецкой колонией, приобретаемой после многолетнего перерыва. «Пребывая в радости от постоянно увеличивающейся площади немецкой Антарктиды <...>, – пишет Херманн, – мы фантазировали о том, как в Гамбурге нас будут встречать вожди, министры и представители органов власти». Однако эта геополи-

тическая эйфория тут же сошла на нет, стоило «Швабии» 12 апреля 1939 года вернуться в Гамбург. Ни Геринг, ни Гитлер, ни кто-либо ещё из нацистской верхушки не соизволили появиться у трапа корабля в парадных мундирах, чтобы отдать должное отважным колонизаторам пингвиньего царства. Возвращение экспедиции, констатирует Васильченко, «было представлено как местное событие, которое имело значение, наверное, только для Гамбурга». Берлинские газеты отделались «короткими фразами о том, что над Антарктикой были сброшены стрелки-вымпелы и флаги со свастикой». Поскольку до начала Второй мировой войны оставалось чуть более четырёх месяцев, такое отсутствие общественного резонанса легко объяснимо: бескровное взятие «снежного городка» пилотами «Люфтганзы», безусловно, уступало в зрелищности грядущим бомбометаниям «Люфтваффе».

Внимание, недополученное Немецкой антарктической экспедицией, было с лихвой компенсировано уже в послевоенное время, когда стараниями пишущей братии пространство Новой Швабии превратилось в уютную и прохладную резиденцию фюрера. Согласно Васильченко, закладку первого камня в фундамент этого виртуального сооружения осуществил аргентинский журналист венгерского происхождения Ладислао Сабо, выпустивший в 1947 году скандальный бестселлер «Гитлер жив!» Следующий этап работ по возведению антарктического «Берхтесгадена» связан с именем израильского писателя Михаэля Бар-Цохара – автора книги «Мститель» (Лондон, 1968). Ему в «заслугу» можно поставить изобретение знаменитой фальшивой «цитаты» из речи гросс-адмирала Дёница («Немецкий подводный флот гордится тем, что создал для фюрера на другом краю мира неприступную крепость, земной рай»). В 70-е годы главными прорабами Антарктического Рейха становятся бывший обершарфюрер СС Вильгельм Ландиг, сочинивший романную трилогию «Туле», и чилийский визионер Мигель Серрано, чрезвычайно много сделавший для причисления Гитлера к лику заслуженных полярников. В конце 80-х капитальным ремонтом «Базы 211» занимался О.Бергманн, одаривший западных читателей сенсационным двухтомником «Немецкие летающие тарелки и подводные лодки контролируют Мировой океан».

По мнению Васильченко, популярность легенд о перемещении партийной канцелярии НСДАП на Южный полюс обусловлена их тесной ассоциативной связью с «разновидностями конспирологических модулей («Новый мировой порядок», операция «Сокрытие» и т.д.)» и сюжетами традиционной мифологии. С этим нельзя не согласиться, но кое-что в интерпретациях Васильченко всё же нуждается в уточнениях и дополнениях. Скажем, вряд ли стоит напрямую возводить многочисленные повествования, эксплуатирующие воображаемый переезд Гитлера в подлёдный антарктический Берлин, к преданиям «о спящем императоре Фридрихе Барбароссе, который ждёт своего часа возвращения под горой Киффхаузер». В данном случае речь может идти лишь о реализации универсального фольклорного мотива «Король под горой», а не о «модернизации» конкретной, отдельно взятой легенды. Показательно, что и в структурном отношении миф о строительстве «Базы 211» куда ближе к рассказу Геродота о хитроумном фракийце Залмоксисе, чем к легенде о рыжебородом Фридрихе Гогенштауфене. Как и вымышленные насельники Новой Швабии, Залмоксис, напомним, выстраивает подземное жилище, тайно удаляется в него, заставляя поверить людей в свою смерть, но спустя некоторое время вновь предъявляет себя миру.

Наконец, вызывает некоторое удивление, что Васильченко не отметил то несомненное влияние, которое на формирование цикла «сказаний» об Антарктическом Рейхе оказала повесть Говарда Филлипса Лавкрафта «Хребты безумия» (1931). В частности, паническое бегство экспедиции профессора Дайера, обнаружившего на ледяном континенте древний город могущественных и агрессивных Старцев, послужило, на наш взгляд, сценарной «заготовкой» для позднейших домыслов о встрече подчинённых адмирала Бёрда, руководившего в 1947 году операцией «Высотный прыжок», с недружелюбным персоналом «Базы 211».

Было бы наивно полагать, что после выхода книги Васильченко флаг со свастикой прекратит реять над Новой Швабией. Эксплуатация ресурсов этой «колонии» будет обязательно продолжена литераторами, публицистами и разномастными псевдоисториками. Вот только выдавать плоды их деятельности за опусы категории «Non-Fiction» издателям, как мы надеемся, станет чуточку сложнее.

Алексей КОРОВАШКО

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

Алексей МЕЛЬНИКОВ

БОРЮ, КОНЕЧНО, СТОИЛИ

Борис Рыжий

1. СМЕСЬ МАЯКОВСКОГО И БРОДСКОГО

Эдуард Поленц,
литератор

(Не ранее 1992 года). Дело было в ДК «Автомобилист». Именно там собирались авторы будущего альманаха «Дорогой огород». Как и всегда, народу было много. Поэты читали друг другу стихи. И вот новое лицо – пришёл молодой человек. Светловолосый, худощавый, немногословный. Назвал себя: «Борис Рыжий». Затем прочёл свои стихи. Нет, ни строки сейчас не вспомню! Но впечатление от них было хорошее. И самого Бориса я запомнил надолго...

(Между 1997 и 2000 годом) В Уральской государственной горно-геологической академии я был аспирантом. Вместе с другими я готовился к экзамену. Предстояло сдавать кандидатский минимум по философии. Обычно профессор излагал, аспиранты молча слушали. А тут пришёл Борис Рыжий (тоже аспирант) и начал спорить с преподавателем. Что именно обсуждали – припомнить не смогу. Но Рыжий произвёл на меня впечатление! Он играючи демонстрировал знание литературных шедевров и писательских биографий.

(Не позднее 1999 года). Я готовил к печати сборник стихов «Дорогой огород». Мне позвонил Борис Рыжий. Он пожелал забрать свои стихи. Я начал спорить. И в конце концов я его оттоворил: «Боря, не стоит! Стихи незрелые». – «Во-первых, они отлично подходят для того, чтобы открыть наш альманах!» – «А во-вторых?» – «А во-вторых, возьмём Мандельштама...» – «То есть?» – «То есть сейчас издано всё, включая его юношеские опыты!» – «Но ведь Рыжий – это не Мандельштам...» – «Там видно будет, время покажет!»

Дмитрий Рябоконь,
литератор

Ранние стихи Бориса Рыжего в «Дорогом огороде» – это гремучая смесь В.Маяковского и И.Бродского. Но этим они и интересны. Сейчас у Б.Рыжего интересно ВСЁ!!! А у О.Мандельштама давно уже издано ВСЁ!!! Даже – два его подражательных стихотворения Н.Некрасову 1906 года. А также – подражания Осипа Мандельштама символистам из его писем Вячеславу Иванову...

Магическое поле. Поэтический выпуск. Литературное приложение к газете «Горняк». Издательский центр УГГА. Екатеринбург. 1994. Стр. 13. Б.Рыжий:

Утро начинается там, где ночь
Выцветает. В новейшем разливе света
Из зрачков исчезают сны и проч.
В зрачках появляется лист газеты:
«Потерялась собака... Уши...», «Завтра
Войска Шеварднадзе...», «Развал науки...»
Морщинится тень на столе, где завтрак.
...А мне некому подать руку.

2. НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ МАЛЬЧИКОМ

Вспоминают Л.И. Позднякова и А.Н. Инёшина, лито «Горный родник»: 1992–2001.

В.В. Филатов. «Отечества пользы для...» Екатеринбург. 1992. Стр. 36: 3 июля 1914 г. Закон о Горном институте высочайше утверждён Николаем II. Сей торжественный акт состоялся на борту императорской яхты «Штандарт»:

Ура! Наш увенчался труд,
Дают нам Горный институт.
И душу веселя свою,
За ваше я здоровье пью...

– «Горный родник» собирался здесь?

Альбина Николаевна: Именно здесь всё и было. Екатеринбург, улица Куйбышева, дом 30, первый этаж. На фото в книге Алексея Кузина – Боря сидит во главе стола. Это место главы литобъединения, стало быть, снимок сделан, когда вечер уже завершался. И все начали расходиться. А вообще Борино место было ближе к середине. Стихи читали – как хотели. Одни – стоя, другие – сидя. Ещё на фото виден наш самовар...

– Как состоялось знакомство с Борей?

Людмила Ивановна: Я работала старшим преподавателем на кафедре геологии, минералогии и биохимии. Боря был студентом потока РФ-92. Они вместе с Ириной учились у меня два семестра. Как студенты они оба хорошо занимались. Спокойные и нормальные оба. Но, видимо, ещё тогда у него проявлялся какой-то комплекс, что ли. Не знаю даже, как назвать это...

– Может быть, приведёте пример?

– Прежде всего, я была куратором другой группы. Не той, в которой учился Боря. Я была куратором у геофизиков. И Боря им всегда завидовал. И вот как-то очень доверительно он мне говорит: «Людмила Иванна!» – «Что такое, Борис Борисыч?» – «У меня прыщики на лице». «Допустим!» – «Что же мне делать?..»

– И что вы ответили?

– Это был второй семестр первого курса. Они у меня учились начиная с февраля. Я отвечаю ему: «Борис, ты что? Это же у тебя юношеское явление. Ты женишься, и всё пройдёт...» Он хмурится, я продолжаю: «Если прыщики тебя так напрягают – сходи к врачу! Три укола отсюда (жестом показывает на локтевой сгиб) нужно поставить сюда (жестом показывает на пятую точку), и всё будет в порядке. И станешь летом загорать...» То есть нужно взять кровь из вены и ввести её внутримышечно.

– Разговор имел продолжение?

– Боря пришёл на третий семестр, то есть на второй курс. Подошёл ко мне – счастливый и довольный: «Людмила Иванна!» – «Что такое, Борис Борисыч?» – «Посмотрите – какой я!» – «Да, прыщиков нет». – «Спасибо вам!» – «Борис, я тебя не понимаю. Ты – мужчина, тебя любят девочки. Чего ты переживаешь...»

В.В. Филатов. «Отечества пользы для...» Екатеринбург. 1992. Стр. 109: В 1920 году в здании рудничного отделения построили эстраду и стали проводить вечера. Никаких репетиций и программ не существовало. Отдавалось должное и «босяцкому» жанру:

Я люблю, когда солнце дразнится,
Улыбается нам вдали
И ласкает вам толстые задницы
Нежно-розовый веник зари!

– С алкоголем были эпизоды?

– В 1994 году, в июле, мы были на практике в Сухом Логу. Я была там со своей группой. Это РПГ – минералоги. И геофизики были с нами. Я их, конечно, тех и других знала как облупленных. Ведь я их учила – все пять групп. У Бориса к тому времени уже ребёночек родился. Но вёл себя на практике Борис неадекватно...

– В каком плане?

– Он там пьянки устраивал. Сколько-то дней мы там прожили. Все уже быт свой обустроили. Однажды я иду от своих ребят. Смотрю, Боря со товарищи столик накрывают. На столике стоит бутылка. Водка среди бела дня! Я говорю ему: «Борис Борисыч!» – «Что такое, Людмила Иванна?» – «Ну-ка, подойди сюда! Что ты там устраиваешь...»

– Что он ответил?

– «Идите сюда, Людмила Иванна!» Я от такого хамства, естественно, взвилась! Зашла к себе, позвала девочку одну, велела ей строго: «Позови ко мне Бориса Борисыча!» Он пришёл с дамой. И получил по полной программе: «Ты думаешь, если мы с тобой в доверительных более-менее отношениях, ты можешь меня запросто окликать? Идите, мол, сюда...»

– Как Рыжий себя повёл?

– Извинился! Покраснел и извинился. Прошло несколько дней. Стук в дверь. Опять вдвоем приходят. В этот раз с парнем: «Людмила Иванна!» – «Что такое, Борис Борисыч?» – «Я вот получил очередной выпуск «Горного родника...» – «Со своими стихами?» – «Вот именно!» Он протянул мне сборник, и я его открыла. На титульном листе было написано: «Уважаемой Людмиле Ивановне от нерадивого студента! Борис Рыжий...»

– Вы принялись за чтение?

– Разумеется, я прочитала все его стихи. Было там стихотворение, посвящённое Вадиму Синявину: «Договоримся так: когда умру,/ ты крест поставишь на моей могиле./ Пусть внешне будет он, как все кресты,/ но мы, дружище, будем знать с тобою,/ что это просто роспись...» Прочитав эти строки, я кликнула студента: «Позовите Бориса Борисыча!»

– И что дальше?

– Приходит он ко мне. «Борис Борисыч, тебе сколько лет?» – «Двадцать!» – «И что ты пишешь? Мне в твои годы, в двадцать лет, казалось небо голубым! Трава была зелёная! Энергии было – хоть отбавляй! Тем более что я – человек военного времени! Уж мы-то пережили такое! А ты что пишешь? – «Как умру, похороните...» Какой ужас! Я прочитала – мне плохо стало. Я в шоке...»

– Он пытался возражать?

– Возможно, он обиделся. Но ничего не сказал – сначала. Потом заявил: «Такое настроение у меня!» А я говорю: «У тебя такая прекрасная жена Ирочка! У тебя сын растёт! У тебя папа – знаменитость! Радоваться надо жизни! Ты что, Боря? Только второй курс закончил в ВУЗе, а уже расстраиваешься? Ты что?» На этом разговор закончился...

– Вы посещали «Горный родник»?

– Иногда. Отношения у нас с Борей были ровные. Но стихи его, иногда – неплохие, боль-

шей частью казались мне тоскливыми. Начиная с тех самых прыщиков – романтик он был, понятное дело. Очень впечатлительный! Бывало, подойду к нему после чтения стихов: «Боря, вот это стихотворение мне понравилось! Но подними ты уже своё настроение! Ну что такое!..»

– Какое стихотворение вам приглянулось?

– Этого я сейчас не вспомню. Я наизусть стихи не учу, я так читаю...

– Как развивались события?

– Потом получилось так. Он продолжал писать стихи и начал ездить на конкурсы. Старшие поэты принялись его, так сказать, поднимать. Да ещё пьянки эти! Как обычно бывает – творческие личности оступаются. Самое-то главное, что в семье было недопонимание. Родные не понимали, что Борису надо было, скорее всего, идти учиться в университет. Но поскольку отец – геофизик, поступил Борис в горный институт! Хотя это всё – не его было. Ну да, потом была аспирантура. О кандидатской диссертации был разговор. И явно он защитился бы...

– Закончил Боря аспирантуру?

– Не совсем понятно.

Откроем книгу «Следы Бориса Рыжего»?

Берём страницу 32: «24 июля 1994. Сегодня я вернулся из Сухого Лога. Навестил Б.Рыжего. Брал гитару. До четырёх утра сидели у костра. Они знают песен много...» Да, пели все замечательно! «Пили по кругу разведённый спирт...» Чего я вообще запрещаю студентам делать по жизни, и в поле, сколько езжу, никогда! «Борису геология пока неинтересна...» Занимался Борис у меня нормально – у меня лично! «Ещё не ладит со Слободчиковым...» Слободчиков Евгений Александрович – замечательнейший человек! «И вообще им геологи-преподаватели не нравятся...» Не будем об этом! «Грубоваты...»

– Вы обсуждали эти строки с автором?

– Я говорю ему: «Это что такое?» Он в ответ: «Ну я же раньше с вами не общался!» «Как вы могли – написать фамилию? То есть оскорбить человека...»

– Читаем дальше «Следы Бориса Рыжего»?

– Снова страница 32: «Бутин на дискотеке перерубал топором провод с током несколько раз, как змею убивал, а провод был холостой...» Ну конечно! Они до такой степени нас довели, эти самые студенты, что наш начальник Венедикт Венедиктович Бутин пошёл за топором, раз они не понимают! Если они – пьяные все! Днём начали – и до ночи! Я бы их всех утопила...

– Кто-нибудь отличился особенно?

– Я двух девиц гоняла по лагерю. Они матерились обе – и как раз напротив окон, я в палатке спала. Выхожу и говорю: «В чём дело? Почему спать-то не даёте преподавателю?»

– Ответ имел место?

– А они стоят – две совершенно пьяные. И что-то одна ответила мне матом. Я говорю: «Я тебя сейчас за твои патлы возьму и в речке утоплю! И ещё раз мат услышу – вашей палатки тут не будет. Я её снесу. В один момент. Вы меня ещё плохо знаете. Будете снова материться – я вас снесу вместе с палаткой в речку». И всё – затихли...

– Эту студентку вы видели позже?

– Она закончила вуз. На пятом курсе я её встретила: «Вы что, диплом защищаете?» – «Ну-у-у». – «А меня помните?» – «Да-а-а». – «Сейчас вы материтесь?» – «Не-е-ет». – «Курите?» – «Не-е-ет». Оказалось – замуж вышла!

Газета «Горняк». Вторник, 3 апреля 1956 г. Стр. 2: Я. Зрячий. «На рабочем месте»:

Двое курят беспрерывно в бухгалтерии
И доводят коллектив до истерии...
Мы пытались убеждать, говорить,
Мы просили не коптить, не курить...
Но в ответ на все запросы
Вынимались папиросы.
И на наше убежденье
Продолжалось вновь куренье...
Мы в дыму не видим света,
Не табак у них – кизяк...
Помоги ты нам, газета,
Помоги, родной «Горняк!»

– Драки на практике случались?

– Сколько я ездила – ни одной не было! Даже деревенские не дрались...

– Слухи о драках – есть, фактов по дракам – нет?

– Боря-студент драчуном не был. Был он адекватным и уважительным. Его сгубило то, что он пил. Но вот спектакль! Своё впечатление о нём я высказала Ирине Князевой. Это она меня пригласила в театр – через Алексея Кузина. Я довольна, что сходила. И что в честь Бори спектакль поставили. Но там его показали такой пьянью! Он не был таким. А в остальном – всё замечательно. Играли прекрасно...

– Во всех отношениях?

– Там как раз сцену из общежития показали. Я в те времена ходила к своим студентам. Тоже получилось – утрированно очень в спектакле. Мои студенты меня «мамой» зовут до сих пор. Все, кто со мной общается. Их два потока было. Я внушала так: «Пока я с тобой разговариваю – я твоя мама! Но если меня вызовут в деканат – я

С женой Ириной Князевой

твой преподаватель. Буду жёсткие меры принимать...»

– Ваша оценка «Рыжего» в целом?

– В принципе спектакль мне понравился. Но когда я оттуда вышла у меня даже слёзы навернулись. Так уж они его показали! Хулиган, разбитной парень, алкоголик, неуважительный тип. По-моему, он был другим...

– Слишком много драматизации?

– Может быть, он где-нибудь иголки выпускал. Но это была защитная реакция! Вообще же Боря был нормальным человеком. Впрочем, я виделась с Борей только на вечерах поэзии в «Горном роднике». Раза три или четыре – мы встречались здесь, где сейчас беседуем...

– Как это происходило?

– Всё прекрасно организовывалось! Руководили этим Долганов и Лобанцев. Они же устраивали застолье. Сперва – стихи, затем – рюмки. Это была традиция. Ну это вообще – традиция в России. Но кому-то оно идёт на пользу, а кому-то во вред пошло...

– Кто-то может остановиться, а кто-то не может?

– Я считаю, что Боря был воспитанный человек. Нормальный парень. Родители хорошие...

– Вы лично были на похоронах?

– Меня не было в это время в городе. Мне рассказал один человек (который сейчас уже умер). Борис Петрович весь вечер читал стихи Бори. Видимо, отец всё-таки хотел из сына учёного в какой-то степени сделать. И всё равно – Борис Петрович почитал Борю как поэта. И он, конечно, не хотел, чтоб скатывался парень вниз. Очень обидно! Сколько ему было, лет двадцать вроде?

– Двадцать шесть лет и восемь месяцев...

– Погибнуть так рано – ведь это ужасно! Потрясающе. Я в таком шоке ходила – когда приехала и узнала. Это был шок для всех...

Газета «Горняк». Воскресенье, 29 апреля 1956 г. Стр. 4: ААхматчин, студент гр. ГИ-53-ОР1. «Письмо к матери» (фрагмент):

Под твоей чуть-чуть подгнившей крышей
Снова факел счастья загорит.
Далеко ты. Но я знаю, слышишь!
Это сын с тобою говорит...

– Поговорим ещё о «Горном роднике»?

Л.И.: Юрий Конецкий однажды критиковал...

А.Н.: Вообще нам не нравилось, когда он приходил!

Л.И.: Борю он критиковал за пессимизм, за уныние в стихах. И мне тоже не хотелось, чтобы был Боря таким кислым. Я сама – очень бойцовский человек по натуре. Я в армию стремилась в девятнадцать лет. Полгода ходила, добивалась. И когда парни боялись...

– Чего боялись студенты?

– Прибегает: «Людмила Иванна!» – «Что такое?» – «Можно у вас стипендию оставить?» Однажды вот здесь вот, прямо в вузе, напали на старосту моей группы два каких-то жлоба. Я его, старосту, таскала потом в деканат, я его на кафедру таскала. Говорю: «Я бы им башку свернула, если бы они меня встретили! Ведь это же не на улице вышло. А прямо в учебном здании...»

– Это в начале 1990-х, когда учился Рыжий?

– Старосте говорю: «Ты же парень! Как ты девушку защищать-то будешь? Я – уже бабка, но и я бы – им показала. Пусть я бы получила, но они бы тоже получили». Вот такие сейчас ребята! Не знаю, откуда они берутся? Бористо, кстати, таким не был. Это однозначно...

– Однажды избили его около Дворца спорта?

– Вот это как раз показали в спектакле «Рыжий»! В детстве у нас тоже банда была. Мама не горюй! Нас только попробуй тронь – ох, мама родная. Сами мы не трогали никого! А жила я на Сортировке. Так визовская шпана к нам заезжать боялась. Училась я в педучилище, трамвай был один, ходила в двенадцать ночи пешком. От почтамта на Сортировку. Вместе с подружками. Очень часто. Никого не боялась. Такая уж выросла...

– Может быть, Боря родился не вовремя? Ему бы в войну...

– У меня две дочери. Старшая внучка – преподаватель в железнодорожном институте. Извините меня, попробуй её задень! Ей двадцать семь лет. Её не тронешь просто так! Это гены или характер...

– Вы начали про Юрия Конецкого...

А.Н.: Он агитировал Борю поступать в Литературный институт. Несколько раз агитировал. Уединялись они в угловой комнатке: «Боря, ты меня не слушаешь!» – «Ну да...» – «Надо, надо, Боря, надо!» – «Да геофизику я не люблю...» – «Тебе надо поступать в Литературный институт!» Уходят же некоторые из горного. После второго или третьего курса. Один – в архитектурный ушёл. Но Боря-то писал стихи! Куда ему было уходить? На филфаке в УрГУ писать стихи не учат...

– Литературная тусовка пила много?

Л.И.: Борю, конечно, споили! Здесь-то как раз, в «Горном роднике», чаще пили чай. Это все-таки вуз. А вот на других сборищах! Тем более – в других городах. Когда он ездил на конкурсы. И начали его признавать. Конечно, поездкам на конкурсы способствовал Ю.Лобанцев...

– Он выделял Рыжего?

– Видимо, Лобанцев понимал, что Рыжий – это талант! Ну я сама настолько глубоко в поэзии не разбираюсь. А в человеческом плане – он интеллигентный парень был. Очень хороший мальчишка. Нормальный молодой человек...

– Явный неформальный лидер?

– Вообще-то это за пределами учебного процесса! Но в Сухом Логу он был король. Он это всё (выпивка) организовывал. За что и получил! Становился неформальным лидером при неформальной обстановке...

Газета «Горняк». Вторник, 30 октября 1956 г. Стр. 2: Р.Щербаков. «Всё началось с рюмочки...»:

Из года в год легенда тянется,
Легенда тянется из века в век,
Что человек, мол, который пьяница, –
Разувлекательнейший человек!
Про пьяниц много пропето разного,
Из пьяных пений запомни только:
Как от острого, как от заразного
Беги, товарищ, от алкоголика.

– В аудиториях Боря был скромным?

– Да, пожалуй, да! Когда я прочла сборник «Борис Рыжий. Стихи 1993–2001 годов», то пришла к выводу, что человека не понимали. Настроение у него по жизни подавленное было. Не понимали его до конца. А с виду просто – молоденький мальчишечка. Видимо, характер всё-таки слабый был. Мне кажется, есть сильные натуры и слабые натуры. Поскольку я знала его стихи, я не удивилась в глубине души – когда он погиб. После спектакля, который состоялся в Театре драмы, я шла пешком до Площади 1905 года. И всю дорогу плакала. Господи, ну за что такая судьба у парня? Судьба...

– Маяковский: «А горло – бредит бритвою, а сердце – рвётся к выстрелу?»

– Кстати, драки Бори в школе – это, я считаю, нормально! Человек должен уметь за себя постоять...

– Расскажем ещё о «Горном роднике»?

А.Н.: Борис Рыжий посещать «Горный родник» начал в 1990-х годах. Но в 1980-х это литературное объединение уже было. Ещё раньше была газета «Горняк». Орган парткома, дирекции, профкома Свердловского горного института имени В.В. Вахрушева. По крайней мере, во время Великой Отечественной войны она уже выходила. С самого начала «Горняк» печатал стихи. Сегодня эта газета стала красочной...

– Как имя-отчество Долганова?

– Валерий Константинович. Руководя «Горным родником», он старался привлекать студентов. То же самое делал Ю.В. Лобанцев. Ещё раз вернусь к стихотворению «Договоримся так: когда умру...» Когда я прочитала эти строки, я подумала – это стихи пожилого человека. И вдруг я узнаю, что это ещё студент! Я захотела увидеть этого мальчика...

– Вы пытались Борю излечить от пессимизма?

– Нет, я просто любила его как сына. Как мне казалось – почти ребёнок. Тем более мой сын – того же возраста. И я тоже иногда боюсь за сына. То, что сейчас называют «харизма», у Бори было. Я его не помню – ни в одном конфликте...

– Сын Ваш тоже стихи пишет?

– Стихов как Боря – он не пишет. Но, не любя геофизику, сын мой пошёл в гражданскую авиацию. И чуть не разбился однажды насмерть. От меня месяц скрывали, что он лежит в больнице. Как он остался жив? Трос там был натянут. Провод один остался. Вопреки заверениям, что все провода сняты! «В невероятно чёрный день/ я буду сбит огромным ангелом,/ я полыхну зелёным факелом/ и рухну в синюю сирень...» (1998) Как он смог увернуться? И отключил подачу газа. Чтобы самолёт не взорвался при падении. Самолёт списали после этой аварии. Мой сын решил, что сам его восстановит. Он сделал это! Я сама летала на восстановленном сыном самолёте...

– Вернёмся к строке «Договоримся так: когда умру...»?

– Вадим Синявин (адресат этих слов) тоже очень мне нравился! В частности, он положил на музыку (и пел сам) несколько текстов Бори. Включая вот это: «Облака пока не побледнели,/ как низкопробное сукно./ Сидя на своей постели,/ смотрел в окно...» (1992). Синявин сам стихов не сочинял. Я его воспринимала как барда. Вообще же Синявин был человеком артистического склада.

– Геофизика вообще – романтическая профессия?

– Конечно! Я не знала бы Колыму. Не побывала бы на Памире. Кызыл-Кума бы не увидела...

– Валерий Константинович ценил Рыжего?

– Долганов Борю-то просто обожал! Очень душевно к нему относился. Иногда даже называл «паинькой». Не знаю уж – почему? Он и как поэта Борю поддерживал. И кружку чая налить старался. За чаем, кстати, Боря сидел чаще всего возле колонны. В этом самом помещении, где мы сейчас беседуем. Примерно на половине пути – от стола руководителя до входной двери...

– Долганов ко всем так тепло относился?

– Юрий Конецкий и Любовь Ладейщикова были чужими, конечно. «Горный родник» – это горняки, прежде всего. Случалось, стихи Конецкого чрезмерно много места занимали в нашем сборнике. Вопреки обыкновению – ставить два-три стихотворения каждого автора. Как-то пришли на вечер две девочки. Одна из них – дочь нашего выпускника. Обе прочли стихи...

– И Конецкий что?

– Он начинает их критиковать. Разбор такой жёсткий! Я тут же поняла – девочка больше к нам не придёт. После этого студенты начали Конецкого бояться. Никто больше не показывал своих стихов...

– На Борю Конецкий не «наезжал»?

– Нет-нет-нет, Борю он обожал! Или, по крайней мере, принимал в нём участие. Не препарировал Борины стихи в жёсткой манере. Такого не было...

– Боря не был «увлечён горной наукой»?

– Боря учился нормально. Но его не привлекала работа горного инженера. Он чувствовал, что не сможет отдать ей душу. Мой сын тоже, бывало: «Мама, нет! Мама, нет! Не смогу!» То есть для Бори геофизика как учебный предмет была вполне сносным явлением. А как специ-

альность на всю жизнь – она совсем его не устраивала...

Магическое поле. Поэтический выпуск. Литературное приложение к газете «Горняк». Издательский центр УГГА. Екатеринбург. 1994. Стр. 14. БРыжий.

Заурядный фонтан на пустой аллее –
Пожелтели мраморные фигуры.
Скоро осень – на деревьях листва алеет,
Как улыбки лживой московской дуры
Вместе взятые. Бродят коты, собаки,
С безобразной грустью глядят на урны.
На скамейку сяду, втяну со смаком
Дым колючий. И снова – фонтан, фигуры.
Как пусты их сухие глаза, как жуток
Их взгляд, направленный в голубую мякоть.
Боже мой, ответь мне, кроме шуток,
Неужели и камни устали плакать?
Неужели я здесь сижу недаром
И вовсе не говорю с тобою,
Повторяя написанное без помарок
Через сутки твёрдой рукою,
В которой нынче дрожит окурок:
«Шевельнитесь хоть на исходе века,
Расступитесь, мраморные фигуры,
Дайте место юноше в чёрной кепке».

– Может быть, вы помните Борю на субботнике?

– Субботники, конечно, были! Много проблем нам доставляли монголы. Они не ходили на субботники. А наши парни, и Боря – тоже, всегда ходили. И отдувались за себя и за монголов...

– Монголы были на особом положении?

– Ой, сколько было мороки! Допустим, предстоит субботник. «Мы не можем трогать землю. Нам закон не позволяет...» Это их слова. Делаем вечер встречи, им же посвящённый. Я составляю программу. Студентам и студенткам я раздаю тексты. Репетируем. Девочки мне прочли текст. Мальчики мне прочли текст. Мы собрались – монголов нет!

– Что вы сделали?

– Я чешу в общежитие. Хочу узнать: в чём дело? Монголы прячутся от меня. В другой раз – двадцать лет отмечали. Какая-то веха советско-монгольской дружбы. Опять мы есть, монголов – нету!

– Драки с монголами случались?

– Слава богу, нет! Давным-давно, ещё в советское время, случилось убийство. Убит оказался монгол. Но дело это замяли. И, опять же, слава богу! А то виноватым пытались сделать одного мальчишку. Я точно знаю – он совершенно от драк далёкий...

– Знаниями монголы блистали?

– Одна преподавательница вспоминала: «Расскажи мне о роли Монгольской Народной Республики в Великой Отечественной войне?» Монгольский студент: «Мы победили в этой войне!»– «Мы – это кто?» – «Мы – это наша страна, Монголия!» – «А что же Советский Союз?» – «Мы ему помогли, без нас бы он не выиграл!» Тогда ещё был учебный предмет «История КПСС...»

– О будущем с монголами говорили?

– «Ты приедешь в свою страну!» – «Приеду...» «Ты – специалист, окончивший вуз в Советском Союзе!» – «Специалист...» – «Как это всё будет выглядеть?» – «Что?» – «Как ты будешь работать?» – «Я не буду работать!» – «Как?» – «У меня будет свой кабинет!» – «Для чего?» – «Я буду сидеть и распоряжаться!» Это на третьем курсе...

– Жить с ними в одной комнате кому-то приходилось?

– О-о-о, это тяжело! Это был бы кошмар полный. Не объяснить им, что по коврикам в обуви ходить не надо. Это мелочь, вот не мелочь. К монголу ночью пришла подружка. Они до утра скрипят на кровати. Впутать в это студенческий совет? Тебе мягко намекнут: терпи дальше! Дружбу народов надо развивать...

– О прекрасном Вы с ними говорили?

– Как-то мы яшму выбирали для композиции. Показываю кусок яшмы монголу: «Что ты здесь видишь?» – «Ничего...» – «Ну как же так? Допустим, я – вижу горы! А ты что?» – «Ничего...» – «А вот море – похоже, правда?» – «Не знаю...» – «Ладно, а сам что-нибудь разглядишь?» Молчит и смотрит. Смотрит и молчит. Он отвечает наконец: «Ничего! Красиво. Да...» – «Посмотри ещё, ещё подумай!» – «Да, красиво, да...»

– Сейчас монголы у вас учатся?

– Они приезжают на стажировку. Ничего, нормально так. И мы-то как раз рады с ними сотрудничать...

– Кроме свадьбы Боря хоть раз надел пиджак и галстук?

– Я не помню ни одного раза...

– Каким вы запомнили Рыжего?

– Боря в моей памяти навсегда останется мальчиком. Как-то я его встретила с коляской. «Боря, Боже мой!» – «Что такое, Альбина Николаевна?» – «Ты уже папа!» – «Да...» – «Ирочка – мама?» – «Да...» И повторил ещё раз с гордостью: «Да, да, да! Я – папа...» Я знала, конечно, что они поженились. Но как-то всё это так быстро происходило...

3. УДИВЛЯЮСЬ ТОМУ, ЧТО РОЖДАЮТСЯ

Вспоминают В.Смирнов и Н.Смирнова, литературные коллеги: 2000–2001.

Виктор Смирнов:

(Март 2000 года). Подборка моих стихов была напечатана в февральском номере журнала «Урал». Называлась она: «Ангельский союз». Всего там было пять стихотворений. Вскоре после публикации у меня дома прозвучал телефонный звонок. Я снял трубку и услышал незнакомый голос: «Здравствуйте! Говорит Борис Рыжий. Я прочёл Ваши стихи. Они мне нравятся. Все-все-все, то есть вся подборка...» Это было непривычно! Так никто не поступал. Я запомнил имя Бориса Рыжего.

(Осень 2000 года). Я вместе с маленьким сыном ехал в трамвае. На одной из остановок в са-

лон поднялись Наталья Смирнова и Борис Рыжий. Рыжий был очень пьян. Он принялся вслух читать стихи. Ничуть не стесняясь, никого не слушая, ничего не опасаясь. Какие именно стихи – сейчас не помню! Кстати, никто ему мешать и не пытался. Сначала я подумал, что она везёт его домой. Но затем сообразил, что едут они в обратную сторону. Может быть, Наталья везла Бориса к себе...

(Май 2001 года). Больше всего мне запомнилось не кладбище, а поминки и их участники. Меня буквально поразило многолюдье. В Уральской государственной горно-геологической академии очень большая столовая. Так вот, это огромное помещение было заполнено до отказа. Среди друзей и близких Бориса Рыжего там явно было множество людей, никогда не знавших его лично. Скорее всего, они явились, чтобы поглазеть на покойного. И, разумеется, чтобы выпить и закусить за чужой счёт.

Наталья Смирнова:

По поводу Вити Смирнова – он такой чудесный поэт, настоящий. Очень тонкий и загадочный, я не удивляюсь, что Боре его стихи понравились. В трамвае мы встречались, на улице Малышева, бывший Дом промышленности, только по моим понятиям, это был троллейбус, и ехали мы ко мне. Я при Вите стеснялась платить за Борькин проезд, а не платить тоже риск – все на нас смотрели, ибо Боря выдуривался. Плюнула, в общем, и заплатила. Ехали, кажется, от Евгения Касимова, но точно не помню, может, и нет, потому что у Касимова никто не пил – Женя был закодирован да и просто был незнакомый Борьке человек, а с незнакомцами он не пьянствовал, предпочитал людей проверенных. Насчёт поминок я тоже помню, что количество народу меня поразило. Много было незнакомых людей из Горного института. Вообще было человек триста, гораздо больше мужчин, чем женщин, а Маргарита Михайловна воспроизвела слова Ирины Князевой: «Мужчин много, но ни одного сколько-нибудь ему равного». Не без гордости сказала. Я её пробовала успокаивать, сказала, что хорошо, что есть Артём. Но она категорично отрезала: «Внук – это не сын». Ещё я на похоронах зачем-то припёрла к стенке Лену Тиновскую – заявила, что ведь Лена в Борьку влюблена. Ведь влюблена же? А та сурово: «Как это можно? У человека семья». И ещё так афористично: «Не удивляюсь я тому, что такие люди умирают. Удивляюсь тому, что рождаются». Лена к Борису вообще относилась как к сакральному существу. Высшему...

Магическое поле. Поэтический выпуск. Литературное приложение к газете «Горняк». Издательский центр УГГА. Екатеринбург. 1994. Стр. 13. БРыжий:

СТИХИ ДЛЯ ПУСТОГО АЛЬБОМА

Я приду к тебе с пустым альбомом,
Друг мой ласковый и нежный,
На исходе жизни и с наклоном
Подпишу небрежно:
«Я дарю тебе свою единственную книгу
На оставшееся счастье.
В знак победы горечи над криком.
Хоть сжигай её, хоть рви на части –
Не убудет. Кроме прозы,
Всё, что я писать пытался, тут же
Размывали слёзы.
Либо потому, что вряд ли нужен
Этот почерк, алые чернила.
Впрочем, цвет у них – лиловый.
Либо жизнь моя взаправду уместилась
В два печальных слова:
«Фабрика», «цена». На этих чистых
Нарисуй меня, как только выйду
От тебя, дружок, красивым и плечистым.
Но исчезнувшим из виду».

4. СЕРЬЁЗНОЙ ДРАКИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Вспоминает Салават Фазлитдинов, проект «Дорогой огород»: 1992–2001.

– Вы были лично знакомы с Рыжим?

– Да, Борис Рыжий знал меня лично.

– На вечерах поэзии Вы были председателем?

– Я не был председателем, просто отвечал за порядок в зале. За порядок в помещении, куда приходили поэты. Сначала этим занимался Леонид Фёдорович Быков, директор ДК «Автомобилист» (нынче – действующий православный храм). Ещё был у нас Юрий Леонидович Лобанцев. Позже он ушёл в Горный институт. И у нас никакого руководителя из поэтов (из настоящих) не осталось. Некому стало «умные слова говорить» и всё такое. Почему выбрали меня? Я очень люблю слушать стихи. Как это называется, звукомания, да?

– Именно слушать, а не читать с листа?

– Я могу читать, но только для того, чтобы поддержать впечатление от устного чтения. Очень жаль, что сейчас в Екатеринбурге нет такой точки, где можно слушать живых поэтов. Но я планирую реанимировать старую гвардию...

– Порядок в комнате часто перерастал в беспорядок?

– Беспорядок там возникал всегда! Просто я приходил первым, брал ключ на вахте, отпирал дверь, поэты входили за мной и начинали читать стихи. Одно время собирались на первом этаже. Потом – на третьем, самом верхнем, этаже. В итоге оказались в фойе второго этажа. Там звук интересный. Лет пять или шесть мы собирались. По итогам этих вечеров мы хотели сделать книгу.

– И она возникла?

– «Дорогой огород» она называется. Вышла в 2000 году. Я нашёл спонсоров, все они скинулись, я тоже скинулся...

– Долго вы её собирали!

– Да-да-да, лет десять примерно. Может быть, даже больше. Эдик Поленц сказал мне: «Собирай тексты, будешь редактором!»

Осенью с маленьким Артёмом

1990 год – Горбачёв. 1995-й – Ельцин. 2000 год – Путин. Многострадальная книга...

Она не страдала, она созревала – огород, как-никак! Когда она вышла, людей ушедших было немного. Борис Рыжий (1974–2001), Роман Тягунов (1962–2000), Максим Анкудинов (1970–2003), Наташа Ашатаян (1962–2000), Старик Букашкин (1938–2005). Все они были ещё живы. Только Владимир Четвериков уже успел уйти...

– Владимир Четвериков умер своей смертью?

– Там много версий было. Как мне говорили, его застрелили в кафе. Он не был бизнесменом, он не был политиком, он даже не был завсегдатаем этого кафе. Это всё, что я слышал...

«Дорогой огород» (стр. 71). Владимир Четвериков:

Алкоголизм – стезя такая,
Что сплошь до срока спета песнь!
Да, водка совесть заглушает,
Но образуется болезнь!
И за пределами России
Не всякий, видимо, поймёт,
Что оттого мы и больные,
Что совестливый мы народ!

– Вернёмся к Рыжему?

– Дело было в 1992 году, когда мы собирались на третьем этаже. Случилось это зимой, будь это летом, мы читали бы стихи на лужайке! Кстати, мне всегда нравилось, если у нас появлялись новые лица. Вообще – молодёжь, и в частности – студенты. Так вот, пришёл А.В. Кузин, привёл с собой парня. Кузин сказал: «Вот, учится в Горном институте поэт, давайте его послушаем!» Сразу видно было, что мальчик воспитанный! Не очень разговорчивый. Стихи, безусловно, были хорошие. Нельзя было сказать, что гениальные стихи. Впрочем, мы там оценок стихам никогда не давали. Просто слушали...

– Обменивались мнениями, обмениваясь взглядами?

– Да-да-да, критикой не занимались, рецензентов не выбирали, отзывы не формулировали. Поочерёдно читали стихи, после чего беседовали. В первый раз Рыжий прочитал три или четыре стихотворения...

«Дорогой огород» (стр. 7). Борис Рыжий:

Бессонница. Чужой дверной проём.
Остаточность недельного запоя.
Лишь тень моя, столкнувшись с фонарём,
Сумеет скрыться за моей спиною.
Бессонница. Слетают, как очки,
Глаза с глазниц в грядущее ненастье.
Бессонница. В обыденной ночи
Я, как никто иной такой же, счастлив.
Бессонница – и некому сказать,
Что месяц над землёй – что твой обмылок.
Бессонница – и по земле шагать
Придётся меньше, чем лежать в могиле.
В морозный воздух падают слова,
Что на бумагу – умершие мухи.
Я счастлив, когда мокрая щека
Покоится в ладони милой шлюхи.
Бессонница и чёрно-белый снег,
Спокойный, словно клавиши вне пальцев.
В них может потеряться человек...
Хороший, не успевший потеряться.

– Первое впечатление от внешности Рыжего?

– Он очень походил на Александра Блока! Нет-нет-нет, вслух я об этом не сказал – мало ли, что мне кажется! Чего я точно не заметил – так это шрама на лице. Я этот самый шрам заметил только на фотографиях! А сходство с Блоком я заметил сразу. Постановка головы – точно, как на фото Блока. Словно нарочно Рыжий вставал в его позы...

– То есть не просто – рельеф лица имел сходство?

– Не просто, нет! Можно было подумать, что он «играет» в Блока. У меня обычно какая ситуация? Читая какого-нибудь поэта, я преображаюсь в него. Вполне возможно, что Рыжий в это время изучал Блока – довольно плотно. Это некая мимикрия...

– Бродский: «Читая поэта, становишься им!»

– В общем, то ли он был похож на Блока? То ли не был похож на Блока? Я не вполне уверен был! Потому и не стал этого озвучивать. Я ска-

жу: «Блок!» А он скажет: «Нет!» Вот я скажу о себе. Я читаю Ду Фу – и становлюсь китайцем. Я это просто чувствую! Читаю Мишеля Монтеня – сам становлюсь французом. Читаю Фёдора Достоевского – и превращаюсь в русского...

– Вернёмся к Рыжему?

– Все вокруг шумели, кричали, беседовали. А он стоял тихо и смирно. Я тогда решил, что он не привык к такой суматохе. Это потом я услышал, что он был хулиганом...

– При первой встрече Рыжий совсем не хулиганил?

– Ни при первой, ни позже, никогда! О хулиганствах я только слышал. Может быть, у нас он опешил из-за обилия поэтов. И потому был тихим. Хотя вообще у нас там стычки случались часто...

– Вернёмся к стихам?

– Стихи Рыжего были достаточно традиционные. С некоторой претензией на Серебряный век. Должен сказать, стихи Рыжего мне понравились. Звук хороший, ритм хороший. Я когда слушаю стихи, в первую очередь не смысл ищу. А форму, структуру, музыку стиха – вот это мне интересно. У него все это было! Напротив, ни сложных версификаций, ни сленговых словечек у Рыжего не было. В отличие, например, от Димы Рябоконя, что сразу же начинал с употребления сленга. И легко впадал в злоупотребление...

«Дорогой огород» (стр. 76). Дмитрий Рябоконь:

К ВОПРОСУ О КРЫМСКОЙ АВТОНОМИИ
Я с помятым лицом сдаю тару –
Автономию просят татары...
Я за водкой стою – тары-бары –
Автономию просят татары...
Пьяный вдрызг, плачу я под гитару –
Автономию просят татары...
Седина и морщины – я старый –
Автономию просят татары...

– Позже Вы встречали Рыжего?

– Встречал, но я не помню – где! Может быть, там же – в ДК «Автомобилист»...

– Как именно назывались ваши вечера?

– Поэтический клуб «Альманах». Мы и книгу, «Дорогой огород», когда делали, указали в предисловии именно такое название нашего клуба. Были у нас в основном поэты, зрителей (слушателей) у нас практически не было. Вспомните те времена! Интернета не было, не было никакого пути к публичности текстов! В конце 1980-х годов даже пишущая машинка была не у каждого. Мы иногда принимали стихи, то есть рукописи, просто-напросто записанные от руки на бумажных листах.

– Рыжий ходил к вам регулярно?

– Нет-нет-нет, не вполне регулярно, хотя собирались мы еженедельно – вечером в пятницу. А Рыжий, я слышал, чаще ходил в «Каменный цветок». Ох, я хотел сказать: в «Горный родник» при УГГА. Но иногда бывал и у нас. Позже я услышал – от Игоря Воротникова или от Юрия Лобанцева – что Рыжий отбыл покорять Санкт-Петербург и Москву. Делать поэтическую карьеру...

– Город Москва, «нефтяной студенческий конкурс», весна 1997-го?

– Может быть! Потом я утратил связь с Борисом Рыжим. Хотя ещё встречался с Олегом Дозморовым. Я встречаюсь с поэтами там, где с ними надо встречаться. Там, где они читают стихи! Там, где я слушаю стихи! А в жизни, в суете встречать поэтов незачем, ни к чему, некогда...

– Вернёмся к Рыжему?

– Между 1992 и 2000 годом видеться с Рыжим мне, конечно, приходилось. Но не накоротке! Мы с ним, например, ни разу не выпивали. Поэтому длинных разговоров у нас не было...

– Ходят слухи, что Рыжего не было на презентации?

– Вот этого я не знаю! Меня самого там не было. Я был в дороге. Мне позвонили: мол, ждём тебя. Чтобы сделать презентацию «Дорогого огорода». Я отвечаю: «Не ждите, делайте!» В общем, сделали без меня. И, может быть, без Рыжего...

Вспоминает очевидец, сохранивший инкогнито:

В сентябре 1999 года в издательстве Уральского университета вышел альманах «Дорогой огород», который Эдуард Поленц составил из стихов библиотечки «Альманаха» ещё в 1994 году. Презентация книги состоялась в Екатеринбурге, на улице Пушкина, дом 8, в небольшом зале на втором этаже – на работе у одного из «отцов» и спонсоров альманаха Салавата Фазлитдинова. Стихи Романа Тягунова в альманахе были представлены, но самого его на вечере почему-то не было. Презентация проходила как-то безрадостно. В зале сидело человек 15–20, никаких тебе софитов, телекамер и микрофонов. Ведущим вечера оказался Евгений Касимов. И как-то все, кому было предложено читать, вначале признавались: «В последнее время стихов почти не пишу...» А.Кузин читал стихи из «Верхотурской поэмы». Затем с места выступил И.Зубов. После на сцену вышел Борис Рыжий. Два месяца назад он был участником

Григорий Данской, Олег Дозморов, Борис Рыжий

Всемирного конгресса поэтов в Москве и Санкт-Петербурге, его отношение к альманаху «Дорогой огород» и к его собственным стихам, поставленным провидцем Э.Поленцем в начало сборника, в прямом смысле слова было отрицательное. Немного волнуясь, Б.Рыжий прочёл не новые свои стихотворения, не стихи из альманаха, а два стихотворения отсутствующего Р.Тягунова. Обязательной при чтении стихов тишины, безмолвия в зале почему-то не было. К такому отношению Борис не привык, это ему, наверное, было неприятно. Всё-таки он прочитал ещё и два своих стихотворения...

– За лимона – Жигана, Тягунова Романа пью настойку из сна и тумана...

– Я сломал ногу, лежу в больнице. У меня остаточные явления, связанные с похмельным синдромом. Тут в палату входит Рома. Я говорю: «Рома, ты чё?» Я, говорит, узнал, что ты сломал ногу. Еле живой остался. Я к тебе в гости пришёл. Навестить... Я говорю: «Ну ладно, навестил!» Я вообще-то видеть никого не хочу. А он мне говорит: «Ты знаешь, ко мне пришла классная идея...» – «В чём идея?» – «Календари!» Я, говорит, понял: календари, по которым мы живём, не имеют ничего общего с тем, что на самом деле. И он мне достает целую кучу бумаг. Подносит прямо к моим глазам. И начинает мне: «Вот календарь инков, календарь Хаммурапи, календарь друидов...» Ещё несколько видов. «Наш юлианский календарь – тьфу! Мы же живём не по нему...» А я-то ногу сломал в апреле, первого числа. Видимо, именно это его заинтересовало! То есть толкнуло к календарям. Между тем – у меня в голове шумит. Я говорю: «Рома, оставь эти бумаги. Когда очнусь немного, я вникнуть попытаюсь...» – «Нет! Ты сейчас вникни! Сейчас!» И он мне два часа мурыжил голову, которая и так болела...

– Ведь он рисковал, Вы могли встать?

– Нога сломана! Она прикреплена к вытяжке. А там – гиря в пять килограммов. Ну да, похоже, он это учёл! Рома, говорю, про календари – это интересно. Ну не могу я сходу – послать его на три буквы. Пришлось два часа его слушать. А как только он ушёл, я задумался: как он узнал про больницу? Жена приходила – разводом грозила. Понятно! Друзья приходили – утешить хотели. Тоже ясно! Но откуда взялся Рома? Непонятно...

– Стихи в больнице он вам читал?

– Нет, хотя обычно коротенькие стихи он читал всегда и везде! Я всегда любил его слушать. И просил прочесть что-нибудь новенькое.

«Дорогой огород» (стр. 26). Роман Тягунов:

На каком языке говорит
Рыба-кит?
Кто поймёт иностранную речь
Рыбы-Меч?
Что за ноты брала
Камбала,
Для кого пела
Рыба-Пила,
Когда мы на гранитном причале
В изумленье, как рыбы, молчали?

– Со стихов Рома перескакивал на слоганы?

– Они меня не волновали совсем, но приходилось их слушать. Например, палиндром: ОНИ ЗА КАЗИНО. А любимый слоган Ромы – про рекламу! РЕК-ЛА-МА-МА. То есть: реклама для нас – как мама! Увидел рекламу товара – пойди и купи его.

Рома был очень весёлый парень?

Единственное, что невесело: похоже, он наркотиками баловался! В беседах у нас никогда этого не было, я ни разу не задавал ему таких вопросов. Но он показывал мне свой шрам на шее. У него достаточно серьёзный там был шрам. Как-то он пришёл, я ничего не спрашивал, а он вдруг: «Видишь шрам?» – «Да, вижу!» «Это меня пытались убить!» – «За что, Рома?» Тут он замялся. Одно время в Тюмени он работал «чёрным пиарщиком». По крайней мере, он так рассказывал. Ну, подумалось мне, что этот шрам он в Тюмени заработал. Но после Рома сказал, что всё случилось здесь, в гараже: «У меня была фитюлька! И её отнять хотели...» Я не знал, что такое «фитюлька» и даже не стал спрашивать...

– Стало быть, это наркотик?

– Да-да-да! Только я понял это позднее. Беседа о «фитюльке» случилась поближе к смерти Ромы. Год, примерно, 1998-й. Или 1999-й. Может, даже 2000-й. Не помню точно!

– А первая встреча с Ромой?

– Не помню, не помню, не помню! Но, скорее всего, это было опять же в ДК «Автомобилист» на поэтической лужайке. Рома очень любил там читать! Он обожал это делать, у него хорошо получалось, его никто не мог переплюнуть. Он читал всегда по памяти, а не с листа! И стихи были простые для понимания. Не то, что Костя Уваров, у которого версификация одна, другая, третья – друг на друга! Со слуха вообще ничего не поймёшь...

– А с листа понять можно?

– И с листа тоже – надо будет сильно ковыряться. То ли дело у Ромы!

«Дорогой огород» (стр. 26). Роман Тягунов:

Катарсис приходит под старость.
А старость приходит под осень.
А осень – когда мы попросим,
Чтоб женщина с нами осталась.

– Вернёмся к Тягунову?

– Рома всегда мне говорил: «А.С. Пушкин деньги зарабатывал стихами! Я тоже хочу зарабатывать деньги стихами». Когда я услышал о теме с мемориалом...

– О премии «Мрамор»?

– Ну да! Я был в шоке. Мне эта тема сразу не понравилась...

– Из-за связи с кладбищем и похоронами?

– Ну не то чтобы связь с кладбищем! Поэты – они же мистики все. Конченые и настоящие. Когда ты начинаешь касаться этой темы – ты в неё входишь. И можешь не выйти...

– Заработок и премия – как они были связаны?

– Насколько я понял, кажется, со слов Димы Рябоконя, за лучшее стихотворение, посвящённое вечности, будет выдана премия. Некая денежная сумма. Имеет ли эта сумма отношение к памятнику или месту на кладбище? Я не знаю. И позже Рома сетовал: мол, деньги всё ещё не дали! Тянут и тянут...

– Рома учился на матмехе или закончил его?

– Лично я об этом ничего не знаю. Потому что легенд было много! Может быть, он работал на кладбище или даже в морге. Но я не знаю точно!

«Дорогой огород» (стр. 222). Наташа Ашатаян, она же – Роман Тягунов:

Я дочь звезды и звездочёта,
Я внучка волка и луны,
Самары Белого и Чёрной
Летучей рыбы – лодка-чонка
Крученой пушкинской волны.
Девчонка любит арапчонка,
Мальчонка любит дать под дых...
Дышите глубже, КрученЫх!
Держитесь на волне, КручЁных!
Я – дудочка полуживых.

– Драки случались с участием Ромы?

– Была однажды серьёзная тусовка на Уралмаше, в ДК, в огромном здании. Мы туда пришли – целая толпа была. Я, Женя Ройзман, Рома Тягунов и другие. На сцене – в одном конце стихи читают, в другом – в это же время танцуют. Мне это сугубо не понравилось: как можно смешивать одно с другим? И вдруг наш друг Витя Махотин оказался в какой-то куче людей...

– Виктор Махотин – это художник?

– Да-да-да, тот самый, который родился тридцатого мая. И которому ежегодно, тридцатого мая, исполнялось пятьдесят лет. Так вот, то ли там толпа, то ли драка, одним словом – клубок тел. Я Жене Ройзману показываю на клубок и говорю: «Там что происходит? Руки, ноги и Витя Махотин!» Женя посмотрел туда: «Точно, Витя!» Да как ломанётся – Витю доставать из этого клубка. Потом начались разборки какие-то. И Рома сказал: «Мочить их надо!» Он якобы знал кто это затеял. Из-за кого нашему другу Вите досталось на орехи. Рома: «Я знаю, где они! Бежим туда...» Я: «Бежим вместе!» Рома: «А ты здесь стой! Ты туда не пойдёшь. Тебе туда не надо...» Все, кроме меня ушли, затем они вернулись быстро. Серьёзной драки не получилось...

– И почему же?

– Потому что Рома драки не хотел! Ему аура была нужна всего лишь. Такая, чтобы почувствовать себя лидером. Не думаю, чтобы те драчливые люди сбежали. Скорее всего, Рома искать их не стремился! Витю я спросил: «Что там было?» Витя в ответ: «Сам не знаю!» И поправил свою знаменитую кепочку, в которой он был так возмутительно похож на Ленина! Да-да-да, на того самого. На Владимира Ильича...

(6) СТИХИ НА СТЕНЕ

44 строки, нанесённые БРыжим на кирпичную стену балкона: 1996–2001.

1.
И воют жалобно телеги,
И плещет взорванная грязь,
И над каналом спят калеки,
К пустым бутылкам прислоняясь.

2.
И остаётся расплатиться,
И выйти заживо во тьму.
Поёт магнитофон таксиста
Плохую песню про тюрьму.

3.
И нам понять доступно это
И выразить дана нам мощь:
Приют поэта, дом поэта –
Прихожая небесных рощ.

4.
И под божественной улыбкой,
Уничтожаясь на лету,
Ты полетишь, как камень зыбкий,
В сияющую пустоту.

5.
И Баден мой, где я, как инок,
Весь в созерцанье погружён,
Уж завтра будет – шумный рынок,
Дом сумасшедших и притон.

6.
И бесконечной челобитной
О справедливости людской
Чернеет на скамье гранитной
Самоубийца молодой.

7.
И тот прелестный неудачник
С печатью знанья на челе
Был, вероятно, первый дачник
На расцветающей земле.

8.
Да и зачем цветы так зыбки,
Так нежны в холоде плиты?
И лёг бы тенью свет улыбки
На измождённые черты.

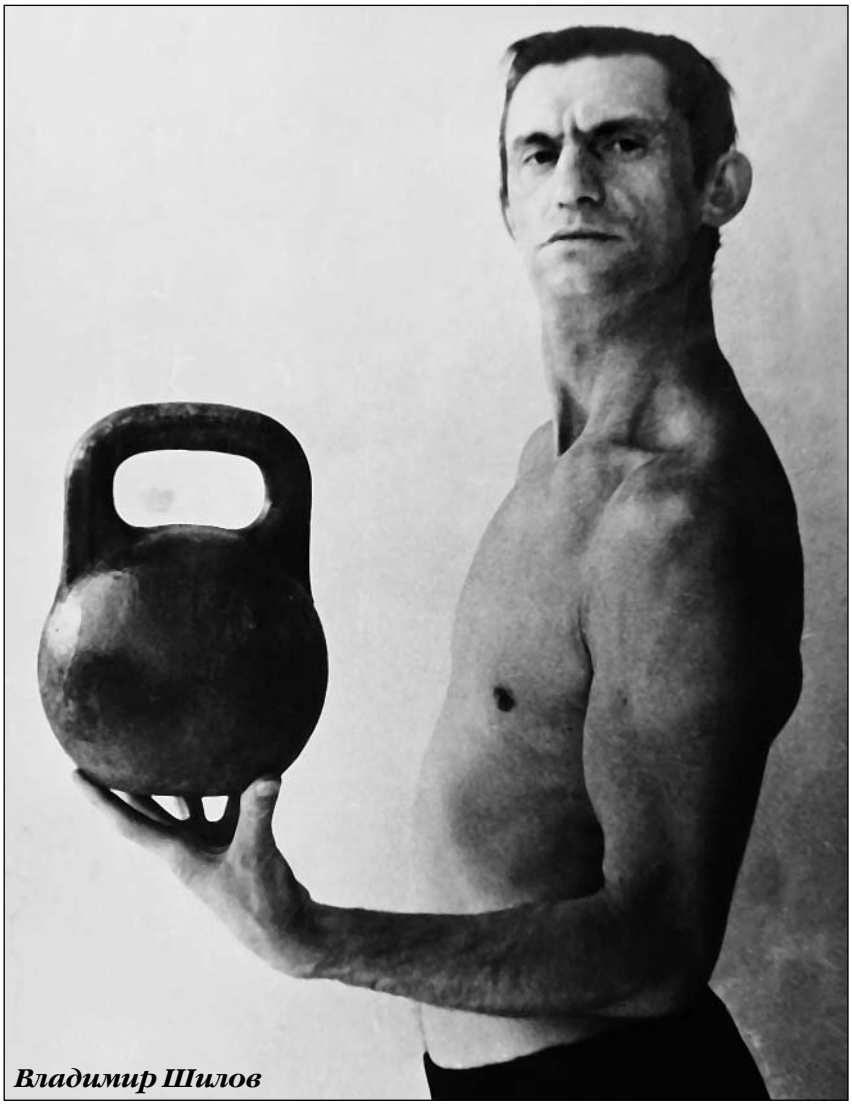
9.
Мне тяжело, мне слишком гадко,
Что эта сердца простота,
Что эта жизни лихорадка –
И псами храма понята.

10.
А сам закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать:
Конец ли дня, конец ли мира
Иль тайна тайн во мне опять?

11.
И стоя под аптечной коброй,
Взглянуть на ликованье зла
Без зла – не потому, что добрый,
А потому, что жизнь прошла.

ВСПОМНИМ, ЧТОБ СНОВА ЗАБЫТЬ...

Михаил ПЕТРОВ



Владимир Шилов

1.

Поздним зимним вечером 1981 года к нам позвонили. Я открыл дверь. На лестничной площадке стоял улыбающийся поэт Владимир Шилов, с которым мы расстались в Омске лет 20 назад и с той поры не виделись. Но я его сразу узнал по неандертальским выпуклостям на лбу. Ещё он чем-то неуловимым во взгляде и облике смахивал на молодого Бернарда Шоу.

Мы обнялись. Вспомнили, как в 1962 году осенью он уехал из Омска куда-то на юг, ни с кем из нас не попрощавшись. И как сгинул. У него был роман с женщиной, на которой, по слухам, он вскоре и женился. А потом и я из родного Омска переехал в Тверь, стал работать в газете. Грёзы юности уводили нас далеко: мешали необразованность, неустроенность, да и город нас, деревенских, ждал совсем не с распростёртыми объятиями. Не ждал и не жаловал.

С той поры о Володе не было ни слуху ни духу. И вот как с неба свалился.

Не скажу, что я увидел перед собой совсем уж другого человека... Внешне он остался таким, как был: чуть насмешливым и серьёзным. Только помутнел на те двадцать лет, что мы не виделись. Но радовало, что волнения лица за жирным шпиком не прятались, волнения души на лице отражались чётко.

За ужином разговорились. Володя знает мои рассказы и очерки, а тверской адрес раздобыл в редакции журнала, где я тогда печатался. Беседуем:

– В Москву не по издательским делам? Где печатаешься? Издавал ли книги?

Спрашивая, осёкся. Ведь сам стихов давно не писал, болтался, как мы *тогда* говорили, по житейскому морю суеты и пустого тщеславия.

Шилов в *те годы* печататься в Омске не желал, да, правду сказать, и негде было печататься тогда в Омске кроме «Омской правды» и «Молодого сибиряка». Шиловские стихи с их футуристической стилистикой, эпатажем явно для них не подходили. Хватило ему одного раза побывать на консультации у омского поэта Якова Журавлёва, чтобы вспоминать о том всегда с насмешливой улыбкой:

– Сидят поэты, как на приём к зубному врачу, в коридоре, под мышкой стишки держат, как градусники. А тот по одному вызывает: «Ваня Яган!.. Измайлов!..»

Он мечтал о московской славе. Напишет свои гениальные стихи, приедет в Москву, прочитает их у памятника Маяковскому, и та падёт к его ногам. Я тогда увлекался китайской и японской поэзией, читал ему в ответ:

Летние травы!
Вот они, воинов павших,
Грёзы о славе...

Он мрачнел, замыкался. И сейчас насупился. Пробурчал, что он художник, стихов уже не пишет. Виной семья, двое детей, которых нужно растить.

– Может, оставишь мне какую свою подборку, я попытаюсь где-то предложить.

– Я занимаюсь другим... Пока не будем об этом, Михаил, давай об Омске!..

Мы провспоминали прошлое часов до двенадцати и легли спать. О поэзии больше ни слова. Он уезжал на шестичасовой электричке, назавтра был у него уже куплен билет домой. Успокаивали волнение от неожиданной встречи как всегда расхожим: раз уж мы нашлись, встреча не последняя, теперь-то мы всё наверстаем!..

Но ночью я долго не мог уснуть, глядел, как на стене играют беспокойные светы города, картины юности воскресали в ночи одна за другой, как на экране...

2.

С Шиловым я познакомился осенью 1961 года на литобъединении в Омском книжном издательстве. Лито вёл тогда редактор Омского книжного издательства Игорь Викторович Листов. Запомнились его сивая поэтическая грива, хромота и оригинальное косноязычие, он выговаривал твёрдую «эль» как «вэ». Заседания были поставлены им на крепкую идейно-политическую платформу. Обязательно избирали секретаря заседания, он строго следил, чтобы все наши выступления протоколировались. Рукописи при нас подшивались в толстую папку, обсуждения проходили по утверждённому директором издательства Филимоновым плану. Я жил в селе Азово, в тридцати пяти километрах от Омска, работал в районной газете «Путь коммунизма» литсотрудником и изредка ездил на четверги к Листову. В маленькую комнатку набивалось человек до двадцати: Владимир Пальчиков, Леонид Чашечников, Николай Касьянов, Анатолий Васильев, Иван Яган, Виктор Калиш, Владимир Макаров, Иван Измайлов. Изредка приходили Виталий Попов, Валерий Шорохов, Алексей Пахомов и многие другие, чьи лица и имена уже стёрлись в памяти. Стихи тогда писали, кажется, все.

В тот вечер не явился на разбор кто-то из «плановых», и Николай Касьянов, студент-заочник Литинститута из семинара Ильи Сельвинского, как он рекомендовался, предложил почитать стихи по кругу, как это делается-де у них в Москве. Осторожный Листов, видя много незнакомых людей, сначала упёрся, боясь, как бы чего не вышло, но молодёжь настояла. Стали читать по старшинству: Измайлов, Касьянов, Чашечников, Пальчиков... Прочёл что-то космическое и я. Наконец, дошла очередь до высокого, коротко стриженого молодого человека в светло-голубом костюме. Тот встал, расставил по-маяковски ноги и, состроив гримасу, низким, глухим голосом сказал:

– Я прочту вам свою новую поэму «Нищий»!

– Простите, но мы так не договаривались, – заскрипел Игорь Викторович. – Мы проговосовали, что каждый прочитает по стихотворению, а вы – поэму. Мы даже фамилии вашей не знаем.

– Шилов, это Владимир Шилов, друзья! – заговорщицки подмигнул нам всезнающий Анатолий Васильев и поправил на груди плюшевую обезьянку. – Игорь Викторович, это редактор «Крокодила» Дома санпросвещения, это стоит послушать. Он нам с Макаровым читал. Это интересно. Читай, Володя, читай!

«Санитарный крокодил» вывешивался в центре города в стеклянной витрине напротив мединститута, омичи любили остановиться и поглазеть на него. Делался он броско, с рисунками под Окна РОСТА Маяковского, с хлёсткими стихами, бичующими антисанитарию в городе.

Шилов терпеливо ждал решения Листова, набычив голову и подняв вверх руку, словно живой памятник.

– Да пусть читает, Игорь Викторович, – состроил гримасу Листову Касьянов.

Листов сдался.

– Итак, «Нищий»!..

Своей поэмой и экзальтированной манерой чтения Шилов сразил всех наповал. Такого здесь не слыхивали. Померк и Иван Измайлов, поэт-крестьянин в телогрейке, кирзовых сапогах и с вещмешком за плечами, откуда он извлекал отпечатанные на папиросной бумаге под копирку слепые оттиски своих песен, и «лучший лирический поэт Омской области», по собственному определению, Николай Касьянов. Да и сам Анатолий Васильев, который приходил на заседания с плюшевой обезьянкой на шее вместо галстука, кажется, сник. Поэт сравнивал себя с нищим, который ходит по земле и просит у людей хоть кроху внимания, любви, а люди даже не знают, что это такое. И только встретив её, такую же нищенку, которая отдала ему последнюю кроху из своей котомки, поэт поверил в человека. Когда Шилов умолк, комнатка налилась тишиной. Первым опомнился Листов:

– Это вожь, вся эта поэма вожь на нашего чевовека, я с самого начава опасався, что это будет вожь... Вы чересчур эпатажны, моводой чевовек...

– Ранний Маяковский, – уязвлённо усмехнулся цыганистой улыбкой золотозубый Касьянов, показывая, что слышал в Москве и не такое.

– Обратите внимание на его героя, товарищи! У нас нищих давно нет. Пусть к нам в цех приходит, Игорь Викторыч! – вставил своё Иван Яган.

Шилов, крутя маленькой головкой, пойманной вольной птицей оценивающе осмотрел всех нас, назвал Касьянова мандалинщиком, Листова бездарью, а стихи Ягана промасленной ветошью со станка и демонстративно ушёл, бросив на прощание, что ноги его больше здесь не будет, чем окончательно всех расстроил. Кто-то кинул ему в спину шизофреника, кто-то графомана. Досталось и Васильеву: зачем привёл? Но разошлись все внутренне уязвлёнными, понимали: безумный, но поэт. Такой не станет править свои стихи в угоду Журавлёву из «Омской правды», как это делают некоторые в рабочих спецовках!..

Темнело. Ехать в Азово, где я снимал угол у тётки, было поздновато, попутки мог не поймать... Хотя зерно на элеватор ещё возили, и на что-то я ещё мог рассчитывать... Шёл, раздумывая, к кому из родных пойти на ночлег здесь, в Омске, когда меня окликнули:

– Куда путь держишь, поэт Петров?

Это был Шилов, он широко шагал по другой стороне деревянного моста через Омку параллельно мне. Я объяснил.

– Ночуй у меня... Если не боишься, конечно, запятнать мундир члена литобъединения имени Листова общением со мной, – и язвительно рассмеялся.

Жил он в центре города на улице Лермонтова в двухэтажном домишке рядом с домом Антона Сорокина. Мы поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и оказались в крохотной однокомнатной квартирке о два окна. В комнатке стояли кровать, стол да два стула. На одном из стульев ведро воды с ковшиком. Оба подоконника завалены книгами, на полу тюбики с красками, ватман, посредине комнаты мольберт, под ним, на полу, аккордеон. Пахло растворителем, красками. Хозяин достал из карманов бутылку вина, банку кильки с овощами, видно, хотел отметить своё выступление.

Я сел за стол, он нарезал хлеба, открыл бутылку, налил вино в седые от невнимания гранёные стаканы, предложил выпить за наши дебюты.

– Ты ведь тоже впервые читал на литобъединении?

В нём причудливо переплетались талант и болезнь, огромная воля и детская беспомощность, простодушие и безоглядная вера в себя. Он и не понял, что и его самого, и его поэму восприняли критически, что Васильев хотел покрасоваться им перед всеми, выдать на посмех. Но и Шилов отплатил внутренне тем же: всех омских поэтов считал пигмеями, выделяя два-три имени.

– Собираетесь там как сектанты и блудите в свальном грехе, своё самолюбие тешите. А Листов вроде попа вам индульгенции в литературу выдаёт... «Поэзия довжна быть партийной», – передразнил он его. А сам поощряет измайловщину, обнюхивание животноводческих ферм и доярок. Ты случайно Ваню Воронкова не знаешь? Тоже говорит, что поэт:

У меня в кармане
две копейки,
Не хватает даже
на трамвай.
Потому сижу я на скамейке,
И не рад тому,
что месяц май...

По чувству хорошо, искренне, так Журавлёв не напишет, но по мысли дрянь. По мне, нет 3-х копеек, поезжай зайцем, не можешь зайцем, хватайся за колбасу, не можешь на колбасе, дуй пешком, но не кисни на скамейке как дед в валенках, не дай собой руки вытирать... Май бывает раз в жизни, а ты стонешь!

Учиться нужно не у Листова и Журавлёва, даже не у Драверта, а у великих – у Маяковского, Хлебникова, Бодлера, Рембо, на крайний случай у Есенина. Из вас девяносто процентов в библиотеку не ходят! Поэты! Видишь, сколько у меня конспектов? Я ежедневно сижу в библиотеке по восемь часов. А чтобы не привлекли за тунеядство, рисую санитарный «Крокодил». И на нём учусь. Проштудировал Окна РОСТа, ездил в Москву в музей Маяковского, чтобы посмотреть Родченко... Я бы никогда к вам не пошёл, если бы не Васильев с Володей Макаровым. Читают мои стихи в «Крокодиле», пристали как банный лист, пойдём да пой-

дём. Мне это не нужно. Я уже и сегодня, – он вдруг набычился и перешёл на бас, – поэт выдающийся, а стану великим. Стану! Для этого у меня есть всё! Как Маяковский, я прекрасно рисую, но я ещё сочиняю музыку, неплохо играю на аккордеоне... Укрепляю здоровье, чтобы от ударов судьбы не раскиснуть и однажды себе пулю в лоб не пустить. Поэт – профессия опасная!

Мне снова стало неловко, как всегда бывает, когда почувствуешь тень душевной болезни. Мне казалось, что и он её в себе чувствовал, хотя критически к вере в своё величие никогда относился. Для наглядности Шилов взял аккордеон и наиграл мелодию, сегодня им сочинённую, и даже негромко подпел ей. По ритму музыка напоминала его стихи.

– Я ещё с год здесь поучусь у классиков, и в Москву. Евтушенко пигмей. Я слышал его на вечере в Политехническом. Он вообще не поэт, сплошная публицистика. А читать стихи, как я, он не может. Я изучаю ораторское искусство, читаю Станиславского. Стихи должны пробуждать человека, а не льстить ему. Я Евтушенко положу на обе лопатки при всех. У Вознесенского есть образность, метафоризм, но нет сердца. Всё придумано. Талантливее всех Белла Ахмадулина. Но за этот год я и её обойду. Вот посмотришь... Нужен прорыв! Пойдёшь со мной? Хотя ты же деревенский, тебе жениться нужно, перед родом себя оправдать. Чтобы решиться на то, на что я решился, нужна несгибаемая воля, как у меня.

Он показал свои рисунки, явное подражание Маяковскому. Я заметил ему. Он не смутился: оформительство всего лишь его хлеб. Он работает художником и редактором газеты «Крокодил» за 40 рублей в месяц.

– Вообще-то я ещё и классный чертежник! Но назад в КБ меня не берут.

Позже он рассказал, что год назад вернулся из тюрьмы, где сидел под следствием. По наивности и доброте взялся помочь кому-то из родственников с пропиской, подделал в паспорте штамп, «прописав» к себе в квартиру. При проверке паспортного режима подделка открылась. За подделку документов тогда судили строго. Родственника уволили, а Шилова изрядно потаскали. Хорошо, что не нашли улик, злополучный штамп, сделанный с помощью горячего варёного яйца, он уничтожил, отметку в паспорте загодя смыл, но Шилов получил два года условно и решение суда ежемесячно отмечаться в отделении милиции. Сейчас он ждал снятия судимости. Судимость сдерживала его порыв в Москву, там с судимостью не принимали ни в институт, ни на работу.

Случайная встреча решила многое в моей судьбе. Шилов, узнав, что мне негде жить, предложил угол. Естественно, бесплатно. Я зачастил в Омск, а через месяц уволился из районной газеты и окончательно перебрался к нему на постой.

Шилов заранее предупреждал, когда его мать выписывали. Но она долго дома не задерживалась, через неделю-две он приходил в библиотеку тихим и мрачным, говорил, что мать опять увезли на 1-ю Линию, 20...

Скорее всего, потому он и был одинок, не имел друзей. Да и трудно общаться с таким, питающимся непосредственно из подсознания. За ту зиму, что я у него жил, в гости к нему раза два заходили Володя Макаров да Коля Кузнецов, тогда ещё оба студенты. Кузнецов забегал без шапки, с одетым под пиджак бордовым свитером. Грел руки над электроплиткой, ёрничал, цитируя Катулла, жестикулировал. Володя, всегда улыбающийся, приветливый, светловолосый, курносый красавец с розовым от мороза лицом. Он снимал пальто, чёрную папаху-пирожок, вынимал из портфеля бутылку вина, выпив, наизусть читал «Реку Тишину» Леонида Мартынова. Мне кажется, он искренне симпатизировал Шилову.

Был ещё Жорж Шеходанов, человек восторженный, знавший наизусть кучу стихов, к которому мы заходили в общежитие. У него был дореволюционный Брюсов, он читал беременной жене: «Все станете зверями, тоже, тоже!..»

Рисунок Владимира Шилова.
Михаил Петров в квартире Шилова

Он жил в комнатке 150 на 200 см в общежитии пединститута с женой Ниной. Комнатка – выгородка от туалета на четвёртом этаже, о чём напоминал её кафельный пол. Но своя! Мы сиживали здесь на кровати перед табуреткой, игравшей роль стола. На ней бутылка болгарского сухого вина «Димиат». Стоила бутылка сущий пустяк даже для нас: 1 руб. 25 копеек. Нам казалось, что мы приобщаемся через неё к европейской культуре. Жорж ходил босиком по кафельному полу и нёс не останавливаясь:

– Сухое вино, это же эликсир жизни! Во Франции его разрешается пить даже детям: до стакана в день, но не больше, Мишель, как называли бы тебя во Франции, не больше! Там любой водила закажет на обед вместо чая стакашек сухаря, выпьет и спокойно едет дальше. И никакая сволочь его не остановит за это и не отнимет права. Любой полицай там знает, что стакан сухого вина за обедом для француза – святая вещь. Да, да, Вольдемар! И там нет алкоголиков, потому что пить там не запрещают, как у нас. Закусывают сухое вино сыром, а вот кальвадос – это уже другое, это уже папаша Хэм. Его пьют по глотку, в Европе вообще пьют по глотку, на голодный желудок и не закусывая. Попробуй подать американцу к рюмке бутерброд, он посмотрит на тебя, как на идиота. Пить, чтобы не пьянеть – как пьём мы, варвары? Не-ет! Американцы скажет: «Я не идиот: виски – и закусывать. С закуской мне бутылки мало, а без закуси я окосею с трёх рюмок!» Жутко практичный народ, американцы. Но папаша Хэм пил целый день и никто не видел его пьяным. Он пил по глоточку ром. О, ром! Кстати, греки, эти бесподобные греки, считали варварством пить вино, не разведённое водой. Сухое вино казалось им крепким. Представляете, что это был за изысканный народ. Предлагаю разбавить.

Мы разбавляли. Полбутылки становились полной. Мы заедали разбавленное вино сыром и дивились этому, как чуду. А Жорж вспоминал какую-нибудь строчку из Архилоха:

Так бывает: копишь, копишь, копишь долго и с трудом,

Да в живот продажной девки вдруг и спустишь всё до дна!..

3.

Как жили поэты?

Шилов вставал первым на правах хозяина дома, втыкал в розетку плитку, ставил на неё литровую алюминиевую кружку для чая, подходил к зеркалу и, глядя себе в глаза, повторял ежедневную формулу:

– Я совершенно здоров, у меня совершенно чистые лёгкие, альвеолы...

В тюрьме он подхватил палочку Коха, лечился силой мысли. И за полгода, как сам утверждал, одолел болезнь сеансами самовнушения. Во всяком случае, никаких таблеток Шилов в то время уже не принимал.

В большие морозы температура у нас опускалась ниже нуля, в ведре на кухне замерзала вода, приходилось разбивать ковшиком лёд, черпать воду как из проруби. Иногда мы набирали за овощным магазином разбитых ящиков и протапливали печь, но это бывало очень редко. Соседи за стенкой постоянно жаловались на Шилова в домоуправление. Смежная стена в большие морозы у соседей отсыревала, им приходилось сжигать вдвое больше дров. Шилов отвечал, что лучше отдавать часть этих дров ему: и стена будет сухая, и дров уйдёт меньше.

Утро у него начиналось с певческих упражнений. Он распевался. Брал аккордеон, сочинял несколько тактов музыки, записывал их. (Нотную грамоту выучил по самоучителю, постоянно в ней совершенствовался.) Выползал из-под перины я. Он заваривал крепчайший чай, от глотка которого съеживалась слизистая желудка. Под учащённое сердцебиение мы расходились по углам писать стихи. А к десяти шли в библиотеку, в тепло, где нас ждали заказанные с вечера книги.

Я не помню большего упоения книгами, чем в ту полуголодную, холодную, но абсолютно свободную зиму и лето. За день я успевал проглатывать страниц по триста-четыреста, многие книги мы конспектировали и вечером устраивали их обсуждения. Когда десять лет спустя я поступил в литинститут, оказалось, что программы по теории литературы, поэтике, фольклору, русской и зарубежной литературе я довольно сносно знаю. Бывало, приезжал на сессии, не готовясь, и сдавал их. Легко цитировал Тредиаковского, Батюшкова, Державина, Тютчева, Анненского. С тех лет помню наизусть китайскую, корейскую и японскую классическую поэзию (в переводах, конечно). В пароксизме страсти мы конспектировали Маркса, Ленина, Энгельса, Гегеля и даже Плеханова. А если добавить сюда Пешковского, Гвоздева, Марра, Проппа, Виноградова, от чтения которых что-то осело в памяти, то можно сказать, что благодаря тому безумному году я неплохо образовался. Да никогда в жизни я не читал так жадно, как тем годом. Мы приходили к открытию библиотеки и уходили с закрытием, прочли, наверное, все книги по теории языка, поэзии и литературы, какие выдавали тогда в читальный зал...

Обедали в столовой по улице Ленина, она располагалась под редакцией «Омской правды». Той зимой не знали, как съесть огромный урожай целинного хлеба 1961 года, во всех столовых Омска хлеб подавали бесплатно. Достаточно было что-то взять на раздаче и пройти в обеденный зал. Со стаканом чая за три копейки ты мог до отвала наесться свежего хлеба.

Мы приходили в столовую в час, когда обедали чиновники и продавцы центральных магазинов. Был тонкий расчёт, что за наши прегрешения скандала поднимать не станут. Шилов уверенно прокладывал путь первым. Не спеша переворачивал в тарелку с салатом две-три порции капусты, затем отпивал из стакана приличный глоток кефира и топил в нём пару кубиков сливочного масла, запрашивал полную порцию молочного или горохового супа. Обед обходился нам в 30–40 копеек на двоих. Мы выбирали стол с полной тарелкой хлеба и до отвала наедались. За обеденным столом встречались иногда со студентами пединститута Николаем Кузнецовым, Жоржем Шеходановым, Юдахиным. Шилов любил посвятить всех в достоинства пережёвываемой им пищи. Если он ел капустный салат, обязательно замечал, что в капусте содержится кальций, а кальций необходим его лёгким, если рыбу, говорил о йоде и фосфоре, необходимых его мозгу и сосудам, горох обогащал его растительным белком и т.д.

Жизнь с раннего детства с психически больной матерью научила его мужеству, самостоятельности и независимости суждений. Суда людского он не боялся, ложный стыд, стеснительность считал пороками. Он никогда не плакался, сочувствия не искал, легко переносил невзгоды. Этим своим мужеством и независимостью легко покорял женщин, также легко с ними расставался. Из него вышел бы неплохой гимнаст, он занимался акробатикой, запросто делал сальто, демонстрируя это даже на улице на тротуаре. Встанет, расставит ноги, сконцентрируется и гоп! Чувства опасности не имел. Не раз делал сальто в своём длинном всесезонном пальто зимой. Подберёт руками полы – и р-раз! Девушки, видя геройство в свою честь, конечно, балдели, переглядывались, резко шли на сближение. Дома в углу у него стояла двухпудовая гиря, с которой он по утрам делал силовые манипуляции.

Он никогда не робел, умел договориться с любым хулиганом. При мне обезоружил пьяного анашиста в трамвае, когда тот вытащил на кого-то финку. Шилов приёмом самбо (тоже знал и умел!) выбил нож и выбросил его в окно.

Я снова вспомнил его реакцию на мою просьбу оставить подборку стихов. Дёрнул чёрт за язык. Володя всегда боялся плагиата и очень неохотно давал свои неопубликованные стихи даже близким товарищам, предпочитая читать их вслух. Тем не менее, в былые времена я многое из него помнил. Но сейчас, как ни пытался, ничего вспомнить не мог. Всплыло в памяти давно забытое:

С блюдечка мозга сползла, издыхая,
Мысли назойливая оса,
И тут я услышал, как ржут трамваи,
И первый поднёс им торбу овса...

Шилов любил эпатаж, был одновременно имажинистом, футуристом... Вот ещё всплыло:

Там из окошка смотрит кошка,
Как под окном цветёт картошка
Враз
Миллионом синих глаз...

Стихов о природе он никогда не писал, был урбанистом до мозга костей. Эти строки, наверное, тем и запомнились, что были единственными. И ещё – строки о весне:

Чудак восторженный проходит,
Ногами лужу пароходит...

Нет, никогда не думал, что он оставит поэзию. Вспомнилось пушкинское:

Семья и дети, милый друг, большое зло,
От них всё скверное у нас произошло...

4.

Утром мы распрощались, я даже адреса у Шилова не взял. Он снимал с семьёй полдома в курортном городке, ждал квартиру, как только получит, обещал и адрес. Вскоре я получил письмо. В конверте коротенькая писулька, что он читает мои рассказы, и фотография. Обнажённый по пояс, держит на вытянутой руке, на растопыренных пальцах, как блюдце, двухпудовую гирю. На лице Володи знакомое выражение превосходства над всеми. Я ответил ему письмом, а в конце зимы, купив по случаю за 55 рублей горящую профсоюзную путёвку, волею судьбы, оказался в том городке на лечении и отдыхе.

В первые же дни попытался найти его по месту работы жены. Е-и городок маленький, вскоре я уже говорил с ней по телефону. Голос был встревоженный:

– Володя мне много рассказывал о вас, но до встречи с ним я хотела бы кое о чём поговорить с вами...

Мы встретились у неё в ателье. Вышла, медленно волоча ноги на протезах, миловидная женщина лет сорока. Познакомились.

– Не скрою, ваше письмо разбудило в Володе не лучшие воспоминания, – сказала она озабоченно. – Наверное, вы догадываетесь, какие. Мы живём хорошо. У нас трёхкомнатная квартира, двое прекрасных здоровых детей. Перед загсом я консультировалась у врача, мне сказали, что эта болезнь передаётся по женской линии. Так оно и случилось. Володя хороший семьянин, любит детей, они у нас спортсмены, мальчик в 12 лет бегает уже по первому взрослому разряду. Ваше письмо, то, что вы печатаетесь, у вас готовится книга, очень его взволновало. Не по-хорошему взволновало. Так что постарайтесь при

встрече не особенно напирать на литературу, поэзию. Говорите о чём угодно, только не об этом. Эту страсть мы успокоили. Не хотелось бы её снова разжечь. Володя сейчас дома, хотите, позвоните ему, я ему рассказала, что вы здесь, он ждёт вашего звонка. А завтра в два приходите в гости. Только: говорим о жизни. О вашей, о нашей, о детях. Хорошо?.. И никаких рукописей, изданий, стихов. На эти темы у нас дома безоговорочное табу. Нам ещё нужно детей вырастить, дочь замуж выдать, сына на ноги поставить...

Я всё понял с одного раза, мгновенно вспомнил реакцию Шилова на мою просьбу оставить подборку стихов и обещал всё выполнить. Она медленно поднялась с кресла и пошла к себе.

Дочь его оказалась красавицей, похожа на мать, лет семнадцати, мальчика дома не было, ушёл на тренировку, но мне предъявили фотографию спортивного, по-отцовски насмешливого... Потом мы сели за стол, и, как пишут в романах, предались воспоминаниям. И всё шло хорошо до поры, пока не включили телевизор.

– Так-так, – сказал Володя, вслушавшись в поток агитпропа. – Мы с ним (с Брежневым) в прошлом году здорово попикировались. Я как раз открыл влияние личности на историю, а он через неделю собирает пленум и говорит о человеческом факторе. Почти всё передрал из меня. Я открываю: «Экономика должна быть экономной», а он спустя месяц делает это лозунгом нашей экономики. Мог бы возмутиться, конечно, предъявить ему, но, думаю, ты щедрый, на общее благо стараемся, – у него вдруг снова появилось то старое, омское знакомое выражение на лице. – А телеграмму я ему отбил: «Так держать, Леонид Ильич!»

– Володя, – прервала его жена, – будь дружок, вынеси мусор. – И когда тот проходил мимо, огладила ему спину, говоря: «Ох, что бы я без него делала?..» Но едва он вышел, как она заговорила со мной: – Такого с ним давно не бывало, после вашего письма стал опять задумываться, ждал приезда. Разок даже пьяным пришёл. Я прошу вас и не писать ему больше. Повидаетесь, и ладно...

Вернувшись, Шилов забыл тему, мы вновь заговорили о детях, о минеральных водах, о моём приезде сюда осенью, когда полно фруктов, молодого вина и прочих южных прелестей. Однако, как ни был я осторожен, разговор всё же прикасался запретной темы – литературы, поэзии. И тогда жена коршуном бросалась на неё. Признаться, мне очень хотелось получить от Володи хотя бы несколько стихотворений той поры, чтобы посмотреть на них уже сегодняшними глазами, ведь юность, это всем известно, пристрастна. Но так и не удалось получить ни одного. Едва разговор коснулся этой темы, как жена сказала буквально следующее:

– Володя, мы же обо всём с тобой договорились, папку я доставать не буду! Всё!.. – и, обращаясь уже ко мне: – Мы договорились, что все знают, что Володя великий поэт и его не печатают только потому, что не настало время. После того, как мы об этом договорились, мы собрали все его рукописи, крепко перевязали, сложили в чемодан и опечатали. Сейчас они на антресолях, ждут своего часа. Володя своё дело сделал, след в поэзии оставил, пусть теперь другие хотя бы частицу его подвига повторят, а Володе пришла пора отдохнуть, заняться семьей, детьми.

– Как же о том узнают? – брякнул я.

– Юнеско объявит. Мы все его рукописи отправили в ООН, в Юнеско и в ЦГАЛИ, мне потом из Юнеско звонили, просили передать Володе, что, когда придёт время, они объявят этот год годом Шилова... Ведь так, Володя?

– Так, так, – глуховатым тревожным голосом подтвердил Шилов. – Когда откроем архивы, мы тебе сообщим... А ты пока никому об этом не говори. Главное, мы обезопасили себя от плагиата...

И жена посмотрела на меня с таким видом, что в её взгляде читалось: «Не беспокойтесь, у меня всё продумано...»

...Работая над этим очерком, я пытался вспомнить хотя бы один стих Шилова. И не смог. Вспоминались одна-две строфы, отдельные сравнения, метафоры. А ведь как волновало нас, что от стихов великого Архилоха остались всего несколько строчек. Человечество не удосужилось запомнить и передать из уст в уста хотя бы один его стих полностью!.. Слишком толсто укрывает ил забвения. Да многие ли из нас, читавшие и даже любившие поэзию 1960–70-х лет, похвалятся большим? И не лежат ли в папках, спрятанных от всевидящей судьбы, стихи, которые ждали и не дождались горячие сердца поколения 1960-х?

Память наша пристрастна. Она прячет папирусы в ниши пирамид и заворачивает в псалмы селёдку. Что заставляет нас не забывать счета на оплату газа и телефона, места пустых встреч и маршрутов и забывать всё, на чём держится наша жизнь?..

А может быть, всё не так? Что жизни до твоих строчек! «Ты мою строчку украл!» «Ты мою строчку забыл!»

Я? Твою? Да твоя ли она, моль перламутровая? Её, быть может, до тебя уже сто раз забывали, чтобы потом опять вспомнить и снова забыть...

Река времён поднимает новую людскую волну. Что-то они вспомнят из того, что мы забыли? И что забудут из того, что выхватили из тёмных вод забвения и удерживали в своей памяти мы? Ведь все мы, в этом я уверен, вспоминаем кем-то забытое.

г. ТВЕРЬ

Вячеслав ОГРЫЗКО

ПОКЛОН НАРОДАМ СЕВЕРА

1. ЧЕРЕЗ ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ПОКАЯНИЕ

С именем Аврорина тесно связано создание нанайской письменности. Двадцатичетырёхлетним выпускником Ленинградского университета он предложил свой вариант алфавита и основные правила орфографии нанайского языка на основе латинской графики. Спустя пять лет учёный взялся за работы по переводу нанайской письменности на русскую графику. Но всемирное признание ему принёс двухтомный капитальный труд «Грамматика нанайского языка», вышедший в 1959–1961 годах.

Валентин Александрович Аврорин родился 10 (по новому стилю 23) декабря 1907 года в Тамбове в семье учителя. После школы он, видимо, поддался влиянию старшего брата Николая и вслед за ним поспешил в Ленинград. Только брат решил продолжить учёбу на географическом факультете Ленинградского университета, а его привлёк историко-этнологический факультет.

В университете у Аврорина под влиянием лекций Штернберга появился интерес к культуре малочисленных народов Дальнего Востока. Старый профессор помог ему в 1927 году провести практику у нанайцев Амура.

Вторую экспедицию на Дальний Восток Аврорин совершил в 1929 году вместе со своим старшим товарищем Иосифом Козьминским. Молодым исследователям наряду с другими вопросами предстояло выяснить, кто же такие орочи. До этого многие учёные склонялись к тому, что удэгейцы (удэхейцы) и орочи в прошлом составляли один народ и имели одинаковый язык. Аврорину и Козьминскому повезло: во Владивостоке их принял Владимир Арсеньев. Известный учёный, как подчёркивал впоследствии Аврорин, «уже чётко разграничивал удэхейцев и орочей, хотя раньше этого не делал. При личной встрече в 1929 г. во Владивостоке он говорил об этом И.И. Козьминскому и В.А. Аврорину. Наименование киака Арсеньев без колебаний относил только к удэхейцам. Вместе с тем он указывал, что удэхейцы называют орочей словом пяка, которое связывается с этнонимом фяка, встречающимся в маньчжурских и китайских исторических источниках» («Орочские сказки и мифы», Новосибирск, 1966).

По возвращении в Ленинград Козьминский и Аврорин подготовили статью «Представления орочей о Вселенной, о переселении душ и путешествиях шаманов, изображённые на карте». Как считали М.Хасанова и А.Певнов, эта небольшая по объёму статья «в сущности является конспектом всей духовной культуры орочей. В ней говорится о трёх мирах: о том, в котором мы живём, о верхнем мире и загробном мире (буна); о духах – хозяевах, медведе-уггули – хозяине всех промысловых зверей; о «крышке луны» и «крышке неба», о «небесном рте», о звёздах; о формировании душ шаманов и их «путешествиях». В этой статье впервые в тунгусо-маньчжуроведении фиксируется представление орочей о мире как огромной безрогой восьминогой лосихе, хребет которой видится девятивершинной горной цепью, шерсть – лесами, паразиты на теле – зверями в лесах. Загробный мир буни – зеркальное отражение земной лосихи» («Учёные-северoведы», СПб., 2001, с. 8). Правда, опубликовать свои наблюдения исследователи смогли лишь через два десятилетия после экспедиции, в 1949 году.

В 1930 году Аврорин окончил университет и поступил в аспирантуру Института народов Севера. Директор института Я.П. Кошкин предложил ему взяться за изучение классификационной системы родства, а также попросил организовать занятия с нанайскими студентами. И совсем другую стезю выбрал его старший брат: он, получив диплом, возглавил на Кольском полуострове полярно-альпийский ботанический сад.

Постоянное общение с нанайскими студентами в какой-то мере помогло Валентину Аврорину изучить некоторые особенности нанай-

ского языка, составить в 1931 году новый вариант нанайского алфавита и выпустить в 1932 году букварь «Новый путь» для нанайских школ. Рассказывая об этой части своей работы, исследователь отмечал: «Первым вопросом, с которым нам пришлось столкнуться, когда мы приступали к составлению букваря, был вопрос о том, какой из диалектов (наречий) и говоров нанайского языка должен быть положен в основу создающегося литературного языка. Нанайский язык разделяется на три крупных диалекта: собственно нанайский, нанийский (ульчский) и сахалинский (орокский). Между этими тремя диалектами существуют значительные различия как в словарном материале (разные корни слов, имеющих одинаковое значение), фонетике (разное произношение и разные принципы изменения некоторых звуков), так и в морфологии (некоторое различие в способах словоизменений, хотя принцип их в основном одинаков). Но все эти различия не настолько значительны, чтобы можно было говорить о существовании трёх различных языков. Нанай, нани (ульчи) и ороки довольно свободно понимают друг друга. Сахалинский (орокский) диалект стоит значительно ближе к нанийскому (ульчскому), чем к нанайскому. В нём имеется большое количество форм и корней из тунгусского языка. Вследствие того, что нанайский диалект по количеству говорящего на нём населения в 5 с лишним раз превышает нанийский, в основу создающегося литературного языка, несомненно, должен лечь собственно нанайский диалект. Однако это вовсе не значит, что в литературный язык ничего не будет внесено из нанийского и сахалинского диалектов. Это не только возможно, но даже неизбежно. Ведь нанайский диалект служит лишь основой для создания литературного языка, но ни в какой мере не заменяет его собой. Итак, нанайский диалект кладётся в основу литературного языка. Но ведь сам-то нанайский диалект не представляет собой чего-то единого и неделимого. Наоборот, он совершенно отчётливо разделяется по крайней мере на 6 поддиалектов или говоров» (В.Аврорин. В помощь учителю нанайской школы, работающему с букварём «Новый путь», Л., 1932).

Вскоре выяснилось, что работы Аврорина имели массу недостатков. Так, его букварь оказался совершенно непригоден для обучения в ульчских селениях. Труден он оказался для восприятия и носителям кур-урмийского диалекта. Аврорин понял: одно дело – изучать незнакомый язык в кабинете и совсем другое – жить среди носителей этого незнакомого языка. Вот почему он очень обрадовался, когда в феврале 1933 года получил от Комитета нового алфавита народов Севера длительную командировку на Дальний Восток.

Планировалось, что Аврорин проведёт на Амуре ровно год. Но он задержался там на срок вдвое больший. За это время учёный не только выверил свои ленинградские рукописи. Он открыл в Приамурье новые нанайские школы для детей и курсы ликбеза для взрослых нанайских рыбаков, а также организовал выпуск первых газет на нанайском языке и сбор новых материалов по языку и фольклору нанайцев.

Вернувшись в 1935 году в Ленинград, Аврорин продолжил учёбу в аспирантуре. К сожалению, развернувшиеся, начиная с 1936 года, репрессии против руководящего состава Института народов Севера и значительной части его преподавательского состава сильно повлияли и на судьбу молодого аспиранта. В 1938 году ему пришлось оставить кафедру национальных языков в Институте народов Севера и перейти в сектор языков народов Севера в Институт языка и мышления. Вместо классификационной системы родства он занялся категорией прямого дополнения в нанайском языке. Из-за этого защиту диссертации пришлось отодвинуть на осень 1941 года.

Чтобы не терять время даром, Аврорин стал готовить новую экспедицию. Позже он в автобиографии писал: «22 мая 1941 г. я выехал в научную командировку в г. Хабаровск для сбора материалов по нанайскому языку и проведению курсов переподготовки учителей нанайских школ. Начало войны застало меня в Комсомольском районе. Прервав сбор материала, я выехал в Хабаровск. В августе получил распоряжение Наркомпроса РСФСР о переводе на работу в Хабаровский крайоно. В должности школьного инспектора и по совместительству научным сотрудником Краевого института усовершенствования учителей работал в Хабаровске до августа 1942 г., затем был переведён в Николаевск-на-Амуре для преподавания нанайского языка в педагогическом училище народов Севера».

Этот фрагмент автобиографии Аврорина нуждается в комментариях. Сначала следует прояснить задачи предвоенной экспедиции учёного. Вдова Аврорина – Е.П. Лебедева – в 1986 году сообщила: «В мае-июне 1941 г. В.А. Аврорин работал в селении Бичу Комсомольского района Хабаровского края. Экспедиция была прервана из-за начавшейся войны. Нанайцы села Бичу говорят на диалекте, называемом гаринским. Гаринских нанайцев в специальной литературе иногда называют самагирами, имея в виду их происхождение от эвенков самагирского племени. Диалект гаринских нанай имеет значительно больше сходства с языком эвенков, нежели другие нанайские диалекты. Цель работы В.А. Аврорина заключалась в изучении этого диалекта. Собранные автором материалы частично были дополнены его же записями в

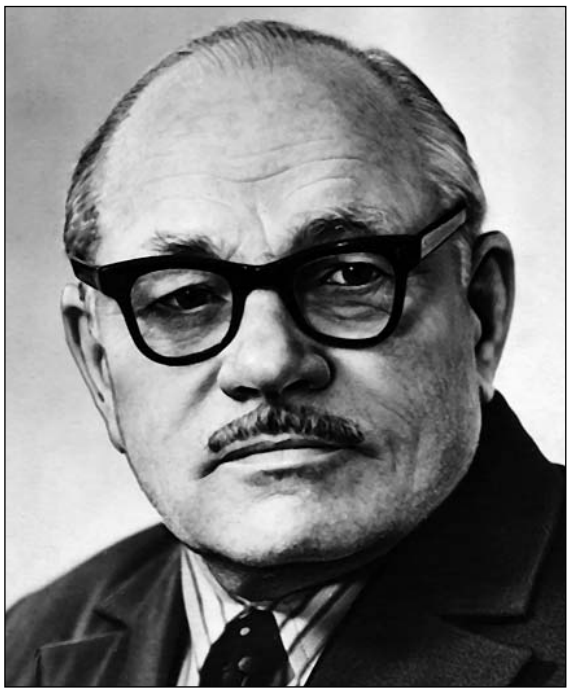
1943 г. от студентов Николаевского-на-Амуре педагогического училища народов Севера. В 1948 г. материалы по языку и фольклору гаринских нанай В.А. Аврорин подготовил к печати – перевёл тексты и составил к ним комментарий» (цитирую по предисловию к монографии В.Аврорина «Материалы по нанайскому языку и фольклору», Л., 1986). Добавлю ещё, что весной 1941 года главным информантом Аврорина была мать бывшего студента Аврорина и основоположника нанайской поэзии Акима Самара. А в Николаевске-на-Амуре ему более всех помог 17-летний Ермиш Самар, который впоследствии вырос в очень серьёзного прозаика.

Когда стало ясно, что война затянется, Аврорин всё сделал, чтобы его семья выехала из Ленинграда к нему в Хабаровск. В 1943 году его назначили директором Николаевского педучилища. Но ровно через год он почему-то был переброшен на другую должность в Николаевское мореходное училище. Возвращение на брега Невы состоялось лишь после Победы.

В 1948 году Аврорин по материалам своей кандидатской диссертации выпустил свою первую монографию «Очерки по синтаксису нанайского языка». Специалисты считали, что он сказал новое слово в отечественной лингвистике и особенно в алтаистике. Профессор Г.Д. Санжеев утверждал: «Заслуга этого автора состоит в том, что он не пытается обязательно свести основные именные части речи к двум: только к именам существительным и прилагательным, как это мы видим у многих лингвистов, или только к предметным и качественным именам, как это делают некоторые монголисты» («Труды Московского института востоковедения», М., 1951, вып. 6).

Сдав свою первую монографию в печать, Аврорин в компании со своим учеником Орестом Суником отправился в очередную экспедицию к нанайцам Хабаровского края. На этот раз он работал в основном в Найхине, записав 32 фольклорных текста. Кроме того, учёный посетил также районы компактного проживания ульчей, зафиксировав почти десять текстов на ульчском языке.

Обработкой собранных материалов Аврорин собирался заняться уже дома в Ленинграде. Но тут началась кампания по разоблачению космополитов. Учёный, испугавшись за своё будущее, дрогнул и включился в травлю крупнейшего языковеда Виктора Виноградова. В ходе одной из дискуссий он публично именитого академика назвал «проповедником реакционных идей де Соссюра».



Валентин Аврорин

Однако очень скоро ситуация развернулась на 180 градусов. 9 мая 1950 года в «Правде» появилась статья грузинского филолога А.С. Чикобавы. Вокруг неё тут же завязалась бурная дискуссия. Кремль настоял на том, чтобы своё мнение по вопросам языкознания мог изложить в «Правде» и Виноградов. А потом слово взял лично Сталин. И Аврорин понял, что просчитался. Из обвинителя он превратился в обвиняемого.

Первый звоночек для Аврорина прозвенел в 1952 году на конференции по языкам народов Севера. Учёный выступил на ней с программным докладом о развитии литературных языков народов Севера. Неожиданно для него основные положения доклада вызвали бурное неприятие у академического начальства. Развернулась бурная дискуссия. Её ход потом подробно изложил Орест Суник. Он писал: «Возражения вызвали некоторые из положений доклада В.А. Аврорина. Б.А. Серебренников отметил, что в настоящее время среди лингвистов ещё не установилось единого понимания сущности общенародного языка. Одни под общенародностью языка понимают те общие черты в словарном составе и грамматической структуре, которые дают возможность носителям различных диалектов общаться между собой. Другие, как, например, В.А. Аврорин (если судить по его докладу), под общенародным языком понимают совокупность всех диалектов. Некоторые лингвисты склонны думать, что под общенародным языком следует понимать наиболее распространённый диалект, охватывающий большинство населения и превалирующий над остальными, более мелкими. Основным недостатком всех этих точек зрения является, по мнению Б.А. Серебренникова, отсутствие исторического подхода, хотя основа общенародного языка в разные исторические эпохи могла быть неодинаковой. В своём выступлении Б.А. Серебренников привёл аргументы в защиту своей точки зрения. Отвечая Б.А. Серебренникову, В.А. Аврорин отстаивал свою точку зрения, указав, что общенародность языка, разде-

лённого на диалекты, определяется возможностью свободного взаимопонимания представителей всех диалектов данного языка. Первую из указанных точек зрения В.А. Аврорин признал результатом искусственной операции по отбору общих элементов в различных диалектах языка, отметив, что общенародный язык при таком понимании оказывается чем-то обеднённым и абстрагированным от диалектов. По мнению Г.Д. Санжеева, В.И. Цинциус и Е.И. Убрятовой, один из основных теоретических выводов доклада В.А. Аврорина, касающийся определения диалектной базы литературных языков народов Севера, содержит ряд спорных моментов. В противовес выводу докладчика о том, что при условии разделения языка на диалекты, а этих диалектов – на говоры в качестве основы литературного языка должен быть взят говор, В.И. Цинциус, находя базу одного говора излишне узкой, предложила иную формулировку: в основу литературного языка класть определённый диалект при ведущей роли одного из говоров этого диалекта. Г.Д. Санжеев нашёл формулировку В.И. Цинциус не имеющей существенных отличий от того, что предлагал В.А. Аврорин. Е.И. Убрятова говорила о том, что в основу якутского литературного языка не был положен какой-либо определённый говор или диалект, и тем не менее якутский литературный язык существует и успешно развивается. Следует, однако, подчеркнуть, что никто из выступавших по данному вопросу не возражал против основной мысли докладчика, заключающейся в том, что для успешного развития каждый из литературных языков народов Севера должен иметь свою совершенно определённую диалектную базу, необходимую для установления твёрдых норм литературной речи. В ходе обсуждения этого вопроса была окончательно признана полная несостоятельность попыток обслужить единым литературным языком существенно отличные в языковом отношении территориально обособленные группы одного народа и тем более несколько родственных по языку народов Севера» («Вопросы языкознания», 1953, № 2).

Ну, а потом в адрес Аврорина посыпались и более серьёзные обвинения. Известный специалист по тунгусо-маньчжурским языкам В.И. Цинциус обвинила его в слепом следовании трактовкам Марра. В статье «Труды И.В. Сталина по языкознанию и вопросы изучения языков народов Севера» она заявила: «В «Очерках по синтаксису нанайского языка» В.А. Аврорина с первых же страниц книги можно обнаружить, что автор названной работы всецело принимает основные высказывания Н.Я. Марра и ставит своей целью руководствоваться этими положениями. В указанной работе В.А. Аврорина с совершенной очевидностью принимаются и «теория» стадиальности языков (см. стр. 5 и 17 названной работы), и скачков (см. стр. 21), и диффузности частей речи, и звуковых символов (стр. 22) и т.д. и т.п. Следуя всем этим псевдонаучным высказываниям Н.Я. Марра, В.А. Аврорин совершенно запутал вопрос о частях речи в нанайском языке. Так, вместо вопросительных и указательных местоимений говорится об отнесении вопросительных и указательных слов то к именам существительным, то к прилагательным (стр. 27). Ликвидируются также количественные и порядковые числительные, которые, по мнению В.А. Аврорина, должны быть отнесены к именам прилагательным (стр. 33) и т.д. В.А. Аврорин проявил себя ярым противником сравнительного метода, хотя довольно многочисленная по своему составу группа тунгусо-маньчжурских языков представляет исключительно интересный и богатый материал для сравнений, которые необходимы для огромного большинства исторических изысканий в области того или иного из языков тунгусо-маньчжурской группы, в том числе, бесспорно, и для нанайского. В рассматриваемой же работе В.А. Аврорин, при совершенно несомненном увлечении автора очень широкими, подчас весьма остроумными, но абстрактно-теоретическими построениями и обобщениями, материальная языковая база остаётся в тени, обходится. Особенно резко это бросается в глаза в разделе 4-м – к истории винительного и именительного падежей последнего, третьего отдела работы (стр. 233–255), где трактовка фонетических явлений, связанных с разнообразными вариантами показателя винительного падежа – ва/вэ, при попытке освещения в историческом, генетическом плане этого вопроса, даётся в чрезвычайно упрощённом виде. Это было неизбежным следствием того, что В.А. Аврорин фактически «отмежевался» с данными по нанайскому языку от остальных языков тунгусо-маньчжурской группы, чем и лишил себя возможности глубокого историко-сравнительного анализа» («Учёные записки ЛГУ», Л., 1953, № 157).

Понятно, что в этой ситуации Аврорину было не до обработки полевых материалов, собранных в экспедиции 1948 года. Учёный всерьёз опасался, как бы его не упрятали в тюрьму. Перепуганный за своё будущее, он бросился писать покаянные статьи. Одну из них – «Состояние и ближайшие задачи изучения языков народов Севера» – исследователь в 1952 году опубликовал во втором томе сборника «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании». Но этого оказалось недостаточно. Второй покаянный материал «Об ошибках в освещении некоторых вопросов грамматического строя нанайского языка и его истории» Аврорин напечатал в 1953 году в пятом номере журнала «Доклады и сообщения Института языко-

знания». Он писал: «Вполне понятно, что мой прежний подход к структуре языка, исходивший из порочных установок так называемого «нового учения», не имеет ничего общего со сталинским положением о том, что основу языка составляют основной словарный фонд (а не вся лексика) и грамматический строй (а не один только синтаксис); грамматический же строй состоит из двух взаимосвязанных, равноправных и относительно самостоятельных частей – морфологии, как системы правил изменения слов, и синтаксиса, как системы правил сочетания слов в предложении. На этой основе «часть речи» следует определить как лексико-грамматическую категорию, объединяющую слова на основе общности категориальных (не конкретных, несовершенных записей текстов русскими исследователями, как правило, не языковедами, имеющих не более чем столетнюю давность). Во всяком случае, других путей для объяснения особенностей нанайского склонения, отличий притяжательного склонения от простого, лично-притяжательного склонения от возвратно-притяжательного, лично-притяжательного склонения первых лиц от склонения вторых и третьих лиц, особенностей, склонения личных и возвратных местоимений и т.п. я сейчас не вижу. В заключение должен сказать, что моя книга, как я сам хорошо теперь вижу, насквозь пропитана порочными идеями «нового учения» о языке. Теоретическим фундаментом её являются немарксистские «теории», созданные в своё время Н.Я. Марром и И.И. Мещаниновым. Одной из основных задач книги было подтверждение конкретным материалом и дальнейшее развитие вздорной, вульгарно-социологической «теории» стадиального развития языка».

Однако покаянные статьи Аврорину мало в чём помогли. Занявший в 1950 году сразу два влиятельных поста – академика-секретаря Отделения литературы и языка Академии наук СССР и директора Института языкознания – Виноградов ничего не забыл. Прямо он ни в чём учёного не обвинял. Но и хода ему долго не давал. Ситуация отчасти изменилась лишь после того, как Виноградов в 1954 году передал Институт в другие руки, и новое начальство наконец выпустило исследователя на защиту докторской диссертации. Степень доктора наук позволила лингвисту в 1955 году продолжить собственную административную карьеру, в частности, возглавить Ленинградское отделение Института языкознания.

Позже В.Горцевская, оценивая послевоенный вклад Аврорина в алтаистику, отметила две его статьи о склоняемых оборотах и категориях времени и вида в нанайском языке, а также кандидатскую и докторскую диссертацию. Она отметила, что в «Очерках Аврорина по синтаксису нанайского языка» детально рассматривается прямое дополнение как со стороны его выражения, так и со стороны его подчинения сказуемому, что с такой полнотой нигде до этого освещено не было. Трём главам предпослано введение, где автор, критикуя традиционную классификацию частей речи и отдавая предпочтение синтаксису, предлагает для нанайского языка свою особую классификацию. После детального рассмотрения прямого дополнения автор приходит к выводам о том, что в нанайском языке любое слово, входящее в состав предложения и выражающее идею активного действия, обладает способностью подчинять себе прямое дополнение. Прямое же дополнение может быть выражено любым именем в форме винительного, назначительного, а иногда и именительного падежа. В работе привлечён большой фактический материал, подтверждающий основные выводы автора. Разработке вопросов грамматики нанайского языка посвящена также докторская диссертация В.А. Аврорина (1955), которая представляет собой наиболее полное исследование в этой области. В работе значительно полнее, чем в предыдущих грамматиках, освещены вопросы фонетики и морфологии нанайского языка, а также сообщены некоторые данные о диалектах. Большое внимание уделено автором общелингвистическим проблемам» (В.Горцевская. Очерки истории изучения тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1959).

Параллельно с нанайцами Аврорин в течение многих лет изучал также орочей.

В 1959 году он вместе со своей женой Е.П. Лебедевой организовал академическую орочскую экспедицию. В ходе своих исследований супруги пришли к следующим выводам:

«1) орочи и удэхейцы – две близко родственные, но вполне самостоятельные народности;

2) орочская народность гетерогенна по своему происхождению. В её состав в разное время вошли отдельные оторвавшиеся от материнской почвы группы нанайцев, в том числе эвенкийского происхождения (самагиров), ульчей, негидальцев, удэхейцев, а может быть, и маньчжуров. Кроме этих тунгусо-маньчжурских народностей, в формировании орочей участвовали айны и, возможно, нивхи. Некоторые из этих групп дали начало отдельным орочским родам. На вопрос о том, какая из тунгусо-маньчжурских народностей внесла наибольший вклад, ответить с достаточной уверенностью трудно. Можно лишь предполагать, что главную роль сыграл нанайско-ульчский компонент;

3) местом формирования орочской народности были, скорее всего, восточные склоны Сихотэ-Алиня – от залива Де-Кастри на севере до р. Ботчи на юге. Спор о том, откуда – с юга или севера – пришли орочи, не имеет под собой серьёзной почвы. Этнические

группы, которые участвовали в формировании этой народности, приходили преимущественно с запада, в меньшем числе – с севера и юга;

4) орочи никогда не были оленеводами. Оленеводческое прошлое может быть приписано лишь отдалённым предкам отдельных частей тех народностей, которые приняли в своё время участие в сложении орочской народности;

5) единственным самоназванием народности, во всяком случае на протяжении последнего полустолетия, является орочи. Возможно, что когда-то ему предшествовало самоназвание нани, однако единого самоназвания ранее могло и не существовать. Нет и никогда не было оснований именовать орочей кэкар и т.п. так же, как не было и нет оснований именовать орочами удэхейцев, а удэхейцами – орочей» («Орочские сказки и мифы», Новосибирск, 1966).

Однако как администратор Аврорин оказался неэффективен. Он так и не смог покончить в институте с интригами. Да и Виноградов постоянно давал знать, что дальнейшего усиления его позиций в академическом мире не допустит.

Сохранить лицо Аврорину помог выдающийся математик Лаврентьев. В 1961 году он позвал знатока нанайцев, ульчей и орочей в создававшийся в Новосибирске академгородок, предложив ему два масштабных проекта – организацию гуманитарного отдела в Институте экономики и гуманитарный факультет в Новосибирском университете. Кроме того, Лаврентьев пообещал учёному членкоррство в Академии наук. Великий математик дождался, когда Виноградов освободил пост академика-секретаря Отделения литературы и языка и в 1964 году привёл Аврорина в члены-корреспонденты по сибирской квоте.

В 1967–1968 годах Аврорин инициировал широкое социолого-лингвистическое обследование функционального взаимодействия русского и национального языков в Сибири и на Дальнем Востоке. Это обследование охватило 31 народ (58 тысяч человек, более 7 процентов всего сельского населения этих народов). При этом учёный лично провёл анкетирование большинства семей орочей, ороков, эвенков и нанайцев в Совгаванском районе Хабаровского края и на Сахалине. На основе собранных материалов он позже написал монографию «Проблемы изучения функциональной стороны языка», которая вышла в 1975 году.

Подвиг Аврорина заключался в том, что в то время, когда официальная власть пришла к мысли, будто родные языки народов Севера утратили какие-либо перспективы для своего развития и сохраняли только бытовое значение для старушек, он заявил, что нельзя лишать целые этносы права на изучение материнского языка. Но власть ему этой позиции не простила и начала всячески его из Новосибирска выживать.

Вернувшись в 1968 году в третий раз в Ленинград, Аврорин продолжил работу над проблемами тунгусо-маньчжурских языков. М.Хасанова и А.Павлов уже в 2001 году утверждали: «Наиболее существенным вкладом В.А. Аврорина в область синхронного описания грамматического строя тунгусо-маньчжурских языков является предложенная им классификация частей речи. Схема, максимально полно представленная в «Грамматике нанайского языка», в основных чертах была намечена уже в работе «Очерки по синтаксису нанайского языка», изданной в 1948 году. В этой схеме наряду с традиционными частями речи (существительным, прилагательным, числительным, местоимением) присутствуют и нетрадиционные (имя времени, имя качества, имя отрицания). «Грамматика нанайского языка» положила начало новому подходу к грамматическим категориям тунгусо-маньчжурских и других языков народностей Севера. В то же время в статье «Орочский язык» в 5 томе серии «Языки народов СССР» (в соавторстве с Е.П. Лебедевой) Валентин Александрович как бы отходит от выработанной им схемы в описании частей речи: он выделяет лишь группу глагольных слов, а прочие категории трактует в рамках традиционной грамматики. Но это вовсе не означает, что он отказался от своих взглядов. В последней крупной работе «Грамматика маньчжурского письменного языка» В.А. Аврорин приходит к ещё более смелому решению проблемы частей речи. Он выделяет не только группу глагольных слов, но и группу, названную им «имя признака»: «...в маньчжурском языке имеется большая по численности и важная по употребительности группа слов, обозначающих разнообразные признаки. По всей видимости, это третья после существительных и глагольных слов группа. В семантическом и грамматическом отношениях она соответствует русским прилагательным, числительным и наречиям, в известной степени – местоимениям, а в некоторых употреблениях также и существительным». Но если вклад Аврорина в лингвистику общеизвестен, то о другом увлечении учёного знали в основном его близкие: он блестяще рисовал.

Умер Аврорин 16 февраля 1977 года в ленинградской клинике Академии наук в результате обширного инфаркта. Позже выяснилось, что накануне лечащий врач отменил учёному большую часть препаратов, которые он до этого принимал. Было проведено расследование. Но так и не удалось установить, допустил ли врач медицинскую ошибку или имел место злой умысел.

Уже после смерти Аврорина были изданы извлечённые из его архивов пять монографий по маньчжурскому письменному языку, а также по языкам орочей и нанайцев.

2. СОЗДАТЕЛЬ КЕТСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Первым миру о Несторе Каргере после многих лет забвения рассказал Александр Солженицын. В главной книге своей жизни – «Архипелаг ГУЛАГ», в первом томе – писатель напомнил: «У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретённую им письменность и букварь – и остался народец без письменности».

Нестор Константинович Каргер родился 9 ноября 1904 года в Самарской губернии в селе Ровное Новоузетского уезда. Когда пришло время определяться с профессией, он поступил на факультет общественных наук Петроградского университета.

Ещё студентом Каргер в 1926 году по совету своего учителя Л.Я. Штернберга отправился вместе со своим однокашником Иосифом Козьминским в экспедицию на Дальний Восток. Первую остановку молодые исследователи сделали в Хабаровске. Но там, как оказалось, их никто не ждал. Кроме В.К. Арсеньева. Уже 3 июня 1926 года Каргер писал Штернбергу, насколько его изумил этот учёный. «Поразительно милый и симпатичный человек, ему мы очень многим обязаны. Вообще надо сказать, что приём, нам здесь оказанный, как со стороны властей, так и со стороны научных учреждений, не оставляет желать ничего лучшего. Хочется скорее приняться за работу. Сшили здесь себе два полога по указаниям В.К. Арсеньева».

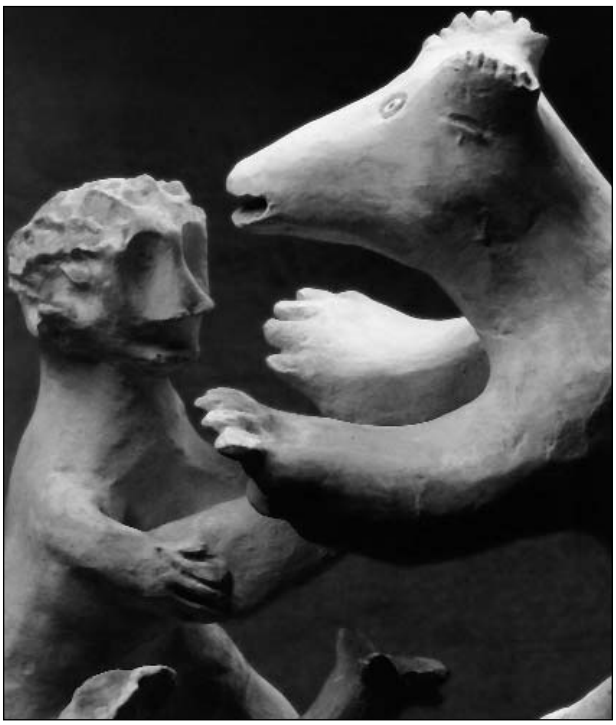
Из Хабаровска Каргер и Козьминский на пароходе добрались по Амуру до устья реки Гарин. Далее они на лодке отправились в селение Кондон. «Из с. Кондон, где экспедиция работала стационарно, – рассказывал потом Каргер, – совершались экскурсии в сс. Ямихту и Сорголь. После окончания работ в Кондон экспедиция стала опускаться вниз по Гарину, обследуя расположенные по Гарину сс. Хуинда, Наан, Боктор, Таломда, Бичи, Намекан. По окончании работ на Гарине экспедиция на пароходе переехала в с. Малмыжское, откуда совершала экскурсии в сс. Докеда, Болэн и на гольдские рыбалки, расположенные по Амуру ниже с. Малмыжского» («Гарино-Амгунская экспедиция 1926 года», Л., 1929).

В ходе экспедиции Каргеру предстояло решить вопрос об этнической принадлежности самагиров. Ещё в Кондоне старики рассказали ему одну легенду. «Давно-давно в одной деревне от эпидемии умерли все жители, кроме одной девушки. Девушка осталась одинокой и всё время плакала. И вот однажды, когда она вышла из дома, ей на плечо попал помёт от кружившегося над ней коршуна. От этого девушка забеременела и родила сына. Мать вскормила сына, пользуясь продуктами, оставшимися в деревне от умерших людей. Когда мальчик подрос, он купил себе жену и у него родились три сына, которые потом «храбрыми людьми стали». Так от коршуна родился род самагир. Затем часть самагиров пошла вниз по Амуру и дошла до устья р. Гарина. Здесь они поставили палочку, наклонённую в сторону Гарина, чтобы указать следовавшим за ними самагирам, куда идти, и затем поднялись по Гарину, где нашли то место, на котором живут сейчас. Вода повернула палочку по направлению вниз Амура, и сородичи, следовавшие за первыми, пошли по этому направлению, дошли до острова Лянгр, где и поселились».

Однако в селениях Ямихта и Сорголь эта же легенда рассказывалась уже на другой лад. Старики Ямихты и Сорголя указывали иной маршрут следования самагиров. По их преданиям получалось, что местом первоначального поселения самагиров была река Бурея, оттуда они перешли на Амгунь и уже потом по Амгуни добрались к району Гарина.

Пытаясь понять этническую принадлежность населения Гарина, Каргер обратился к лингвистическим данным. В какой-то момент ему показалось, «что язык гаринских туземцев есть диалект гольдского языка. Отсутствие достаточного материала гольдской диалектологии, с одной стороны, и пестрота диалектической картины гольдского языка, с другой стороны, делают пока невозможной точную локализацию гаринского диалекта в ряду других говоров гольдского языка. Однако я не ошибусь, если скажу на основании немногочисленного материала, имеющегося в печати, и личного наблюдения во время своего кратковременного пребывания на Амуре, что гаринский диалект имеет отклонения от диалектов амурских гольдов в сторону сходства с тунгусским языком. Главным образом, это касается лексического состава языка, но отчасти также и морфологических особенностей».

К сожалению, в своём отчёте о Гарино-Амгунской экспедиции Каргер почти ничего не сказал о своих информантах. Исключение он сделал только для старого самагира Сукини, который считался основателем селения Намекан. Он писал: «Один из умнейших гольдов, лучший на Гарине знаток преданий и закона своего народа, человек, всегда идущий навстречу всем, кто желает с бескорыстными целями заглянуть и разобраться в сложной системе фактов бытия таёжного жителя, Sukinu вместе с тем обладал чрезвычайно тяжёлым неуживчивым характером, заставившим его бродить с места на место и, наконец, приведшим его к попытке совсем отойти от людей. Родившись и выросши в Кондоне, он, вследствие ссоры со своими односельчанами, принуждён был уехать из Кондона и пе-



Тетерин (кеты). ***Человек, собака и медведь.***

рейти на Амгунь. Затем следует его разорение на золотых приисках, где он имел неосторожность войти в компанию с русскими золотоискателями. После неудачи на Амгуни Sukinu опять возвращается на Гарин и селится в с. Бичи, но ненадолго. Постоянные столкновения с соседями заставляют его покинуть и это селение, и он выселяется вниз по Гарину на расстояние около километра от Бичи, там строит себе дом, где и поселяется с некоторыми членами своей семьи (остальная часть семьи осталась в Кондоне). Так, неуживчивому, раздражительному характеру своего основателя обязано своим возникновением с. Намекан. Ещё совсем недавно дом Sukinu стоял совершенно одиноко на берегу Гарина, но уже при нас из Кондона переселилась в Намекай одна семья, дом которой достраивается рядом с домом Sukinu».

По возвращении в Ленинград Каргер сделал несколько важных выводов. Он утверждал:

«1. Самагиры, выяснение этнической принадлежности которых было основной задачей экспедиции, отнюдь не представляют самостоятельной этнической единицы, как это принято считать со времени выхода в свет работы ак. Л.Шренка. Правда, в научной литературе несколько раз проскальзывало замечание о том, что самагиры есть не что иное, как род, но тем не менее в классификациях народов Амурского края самагиры фигурируют параллельно с гольдами, тунгусами и др. самостоятельными этническими единицами тунгусо-манчжурской группы народов. Такое помещение самагиров в этнографической классификации является неправильным и не отвечает требованиям научной классификации. Самагиры есть род и притом род строго экзогамный.

2. По происхождению своему самагиров следует отнести к тунгусской группе. На это указывает наличие некоторых элементов культуры безусловно тунгусского происхождения, остатки тунгусских форм в языке, название рода с окончанием «гир», характерным для названий тунгусских родов, воспоминание в преданиях о некогда бывшем оленеводстве, прежняя территория заселения (р. Бурея) и т.д.

3. В настоящее время род самагир нужно считать гольдским родом. На это указывает само название всех гаринских туземцев нанай (само название, употребляемое у гольдов), языковые данные, общность материальной культуры, шаманства, организации суда и другие этнографические признаки».

В 1927 году Каргер окончил Ленинградский университет и остался ассистентом на этнографическом отделении. Руководители Далькрайоно, считая его ведущим экспертом в области тунгусо-манчжурских языков, прислали ему на отзыв рукопись первого советского букваря для нанайских школ, который составила на основе кириллицы хабаровская исследовательница Нина Вальронд (Липская). Молодой учёный, дав работе своей коллеги высокую оценку, в рецензии подчеркнул: «...не только как материал для обучения, но и как научный материал букварь стоит выше всего, что мы имели до сих пор по гольдскому языку».

Вскоре Штернберг поставил перед Каргером новую задачу – изучить родовой строй, религию и культуру ульчей. В новую экспедицию молодой учёный отправился вместе с искусствоведом Сергеем Ивановым. В «Записках Владивостокского отдела Государственного Русского географического общества» позже была помещена информация: «С 15 июня по 15 сентября 1927 года в низовьях Амура производила этнографическое обследование племён ульча Амурская экспедиция К.И.П.С'а Академии наук СССР, организованная проф. Л.Я. Штернбергом, в составе ассистентов Ленинградского государственного университета Н.К. Каргера и С.В. Иванова. Изучались: родовой состав, верования, постройки и искусство ульчей» (том 1 указанных записок, Владивосток, 1928, с. 108–109). Насколько удачно ученики Штернберга справились с порученным делом, можно судить хотя бы по статье Каргера «Родовой состав ульчей», которая была опубликована в 1931 году в журнале «Советский Север».

Каргер выявил почти все ульчские роды, уточнив их численность и проследив по легендам истории их происхождения. Он отметил: «Положение ульчей, живущих в соседстве с четырьмя народностями – гольдами, ороча-

ми, негидальцами и гиляками – и населяющих территорию, на которую выходят пути с побережья Татарского пролива – пути, которыми пользовалось население не только материкового побережья, но и Сахалина, – создала исключительно благоприятные условия для проникновения иноплеменных элементов. Каковы были результаты географического положения ульчей в смысле внедрения в их среду чуждых элементов, мы пытались показать предыдущим анализом родового состава. Но самая сложность и запутанность вопроса заставляет нас смотреть на этот обзор только как на ряд ориентировочных указаний для дальнейших работ в этом направлении» («Советский Север», 1931, № 5).

Впоследствии Каргер собирался продолжить изучение ульчей. Но у академического начальства оказались другие планы. В 1928 году молодого подвижника направили в Туруханский край к кетам. Об увиденном он потом написал статью «Оленеводство у енисейцев (кето)».

Современники запомнили тогда Каргера как весьма энергичного и принципиального исследователя. Истина для него была дороже приятельских отношений. Ради достижения справедливости он не щадил даже признанные авторитеты. Приведу только один пример.

В этнографических кругах знали, как Каргер высоко ценил Арсеньева. Он считал, что «наряду с отрывочными, хотя и чрезвычайно ценными сведениями о туземных племенах, разбросанными в различных описаниях путешествий, В.К. дал и ряд специальных этнографических работ, главным образом посвящённых удехейцам. В работе «Этнологические проблемы на востоке Сибири» (1916 г.) В.К. на основании ряда этнографических признаков устанавливает место удехе среди других маньчжурских народов и проводит чёткое разграничение между удехе и орочами, до того нередко объединявшимися исследователями в один народ. Там же В.К. ставит вопрос о сходстве некоторых элементов культуры удехейцев с культурой североамериканских индейцев, вопрос, незадолго до того поставленный относительно северных соседей удехейцев – гиляков другим исследователем Амурского края – Л.Я. Штернбергом. В другом месте В.К. прямо называет удехейцев «нашими американоидами» («Советский Север», 1931, № 1). Но при всём уважении к Арсеньеву Каргер считал, что известный учёный в ряде вопросов ошибался. И он не боялся спорить с Арсеньевым при жизни и не обходил острых углов после смерти исследователя. Каргер, в частности, отмечал: «Может вызвать ряд недоразумений и утверждение В.К. (на примере амурских народов) о вредном влиянии на туземцев цивилизации, благодаря которой ольчи, например, «проявляют жизнедеятельность только во время хода лососевых рыб». В остальное время года эти люди апатичны и вследствие своей неподвижности производят впечатление находящихся в нужде». (Население Дальнего Востока... стр. 10). Едва ли может быть два мнения о вредном влиянии на туземца цивилизации капиталистической, идущей рядом с бесчеловечной эксплуатацией, со спиртом, сифилисом, с неизбежным порабощением, со всем тем, чего неоднократным свидетелем был покойный исследователь. Но делать отсюда обобщение о вредном влиянии на туземца всякой цивилизации – безусловно ошибочно».

Не за эту ли принципиальность К.Я. Лукс и Я.П. Кошкин взяли Каргера в свои союзники, назначив его в 1931 году учёным секретарём научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера?

На новом посту Каргер проявил себя блестящим организатором науки. Его программная статья «Очередные задачи этнографии на Севере», напечатанная в порядке дискуссии в 1931 году в журнале «Советский Север», до сих пор не утратила своей актуальности. Проанализировав проделанную работу по четырём направлениям, молодой учёный дал подробные рекомендации о том, как изучать хозяйственную жизнь народов Севера, что делать в области производственных отношений, насколько важно знать языки изучаемых народов и какое внимание следует уделять верованиям северных этносов.

Каргер категорически был против того, чтобы коллективизацию в районах расселения таёжных племён проводить на основе какой-то одной отрасли. «Колхозы на Севере, – писал учёный, – должны быть смешанными, интегральными, также как наиболее целесообразной для этого края была признана интегральная форма кооперации» («Советский Север», 1931, № 3–4).

Каргер подчёркивал: «Работа советского этнографа на Севере не может ограничиваться только констатированием той или иной формы классового расслоения в изучаемом им районе. Необходимо также участие этнографов и в выработке методов и форм борьбы с классово чуждыми элементами. Здесь значительную роль играют не только меры экономического порядка, но и формы административного воздействия.

Особое значение Каргер уделил проблемам языкового строительства. Он отмечал: «В разрешение этого вопроса существуют два уклона, одинаково вредные для правильного проведения национальной политики на Севере. С одной стороны, исходя из неуместного принципа «экономии», пытаются уменьшить необходимое количество литературных языков путём «приписки» малочисленных и экономически слабых на-

родов к более сильным соседям. Укажем, например, на получившее печальную известность на Севере якутизирование народов (тунгусов, ламутов, юкагиров и т.д.), обитающих на территории и в пограничных с нею районах ДВК Якутской АССР. О вреде такой политики «приписки» говорить излишне, по существу она мало чем отличается от старой руссификаторской политики. В противоположную крайность впадают некоторые исследователи, стремящиеся создать особую систему письменности и особую учебную литературу для каждого диалекта, ссылаясь на большие диалектологические различия, существующие в некоторых языках одной и той же этнической группы. Увлечение этой системой может завести нас очень далеко, так как письменный язык в такой форме грозит обратиться из средства национального объединения в орудие национального разъединения. Наиболее важен и труден выбор того диалектика, который должен лечь в основу создаваемого литературного языка. Этот вопрос должен быть в каждом отдельном случае разрешён особо не только на основании одних формально-лингвистических соображений, но с полным учётом экономической значимости группы, говорящей на том или ином диалекте. Необходим также учёт центров экономического тяготения в связи с национальным районированием и созданием сети просветительных учреждений».

Каргер знал, о чём говорил. И с тем, и с другим уклоном он столкнулся, когда работал среди ульчей и хантов. Только в первом случае учёный согласился со своими коллегами-лингвистами, которые решили, что созданная ими нанайская письменность вполне может устроить и ульчей (а на практике это, наоборот, внесло лишь одну сумятицу; ульчи не захотели обучаться по учебникам нанайского языка). А во втором случае исследователь пришёл к выводу, что поскольку казымские ханты не понимают своих соседей с Ямала, букварь Хатанзеева, изданный на шурышкарском диалекте, для всего народа на годится. Именно поэтому он в 1933 году предложил свой вариант хантыйского букваря. (Потом Каргер издал на ханты языке сказку «Зайчишка». По идее, историю публикации этой сказки должна была проследить хантыйский историк Т.В. Волдина. Но она в своей монографии «Хантыйский фольклор: история изучения» (Томск, 2002) посвятила Каргеру на стр. 39 всего одно предложение.)

Ещё сложнее оказалась ситуация с кетами. Каргер первым доказал наличие в кетском языке категорий рода и ввёл в науку неизвестные факты кетского языка. Свои выводы он в 1934 году опубликовал в статье «Кетский (енисейско-остяцкий язык)». Тогда же учёный на основе нижнеимбатского диалекта составил кетский алфавит и кетский букварь. Но у этих работ оказалась сложная судьба. Как отмечали в 1990 году два крупнейших исследователя кетского языка Г.К. Вернер и Г.Т. Живова, «разработанный Н.К. Каргером в начале 30-х годов кетский алфавит не нашёл практического применения по целому ряду причин. Главные из них состоят, очевидно, в следующем: 1) алфавит был разработан на основе латиницы, совершенно незнакомой кетам, и базировался на среднекетском диалекте, в то время как основная масса кетов говорила на южнокетском диалекте (Елогуй, Подкаменная Тунгуска); 2) предполагалась слишком широкая сфера внедрения алфавита, что было уже по тогдашним условиям не актуально. Нарушение принципа соизмеримости и целесообразности не могло привести к положительным результатам в деле внедрения кетского алфавита в 30-е годы» (Просвещение на Крайнем Севере. Л., 1990, вып. 24).

Параллельно с работой в научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера Каргер занимался в аспирантуре Музея антропологии и этнографии у В.Г. Богораза и изучал шаманство у казымских хантов (одним из его информантов тогда был студент Института народов Севера В.Алачев). Но до защиты диссертации дело не дошло.

8 марта 1935 года Каргер был арестован. Ему в вину поставили принадлежность к «бывшим людям». Особое совещание при НКВД СССР распорядилось выслать его на три года за пределы Ленинграда. В итоге он попал на Ямал в ненецкое селение Яр-Сале, где его через какое-то время приняли краеведом на местную культбазу.

Проведя три года в ссылке, Каргер потом вернулся к родственникам в Куйбышев. Он не знал, что ещё весной 1937 года его имя попало в дело об одной из контрреволюционных организаций, в котором фигурировало и много других североведов, в том числе Форштейн, Кошкин, Шавров и Крейнович. Правда, чекисты тогда ограничились арестами в Ленинграде, Каргера они искать почему-то не стали.

Судя по всему, в Куйбышеве Каргер от проблем Севера вынужден был отойти. Когда началась война, он был призван в армию и направлен на курсы младших лейтенантов, где его сначала пришлось не военному делу обучать, а лечить от дистрофии. По некоторым данным, учёный в 1943 году погиб на Курской дуге. Однако на разрекламированном Министерством обороны России сайте с материалами Подольского архива никакие сведения об участии Каргера в войне пока не приведены.

Автор работ «Возникновение нового культа у гольдов» (1927), «Классификационная система родства у гольдов» (1930), «Оленеводство у енисейцев (кето)» (1930).

3. ЭТНОГРАФ С МАУЗЕРОМ

Об Альберте Липском ходили легенды, будто в 1920-е и 1930-е годы нанайцы пугали им своих детей. Его люто ненавидел Владимир Арсеньев. Но вот в послевоенном Абакане он оставил о себе совсем другую память. Там учёный местной элите запомнился как милейший человек, любивший копаться в сибирских древностях.

Альберт Николаевич Липский родился 30 августа 1890 года в Белоруссии, в небольшой деревушке Тарстка Рогачёвского уезда Могилёвской губернии. Отец его был крупным польским магнатом, который никогда не интересовался судьбой своего незаконнорождённого сына. Мать – белорусская крестьянка. По одной из версий, она носила фамилию Куренкова и впоследствии официально вышла замуж за обыкновенного крестьянина, переквалифицировавшегося позднее в железнодорожные рабочие. Но в 1917 году отчим после долгой болезни скончался.

В 1909 году Альберт Липский поступил в Петербургский университет. По его рассказам, на третьем курсе он познакомился с бывшим народовольцем Л.Я. Штернбергом и под влиянием старого профессора собирался заняться изучением гольдов. Однако потом в Этнографическом и Зоологическом музеях ему сделали другое предложение – отправиться в Монголию. Но как всё обстояло в реальности, точно не известно. Во всяком случае, Штернберг в двадцатые годы такого студента вспомнить не смог и наводил о нём справки по другим каналам.

Что касается Монголии, уже в 1952 году Липский, разоткровенничавшись в Абакане с начинающими этнографами Валерием Алексеевым и Севьяном Вайнштейном, признался, что вместе с ним в 1912 году на родину Чингисхана увязалась дочь одного крупного фабриканта из Риги. Бывшая рижанка родила ему сына Дмитрия. Но однажды Липский застал её в постели со своим ближайшим другом. Семья тут же распалась. Липский отправил сына в Белоруссию к своей матери, а сам ушёл на фронт. С годами черты первой его жены стали уже стираться из памяти. Но вот в руках Липского неожиданно оказалась сумка убитого в бою белого офицера, в которой лежали письма, адресованные его первой музе. Бывший друг сообщал любимой женщине, что война свела его с Липским, который «продался большевикам». Запечатав обнаруженные бумаги в пакет, Липский попросил знакомых чекистов разыскать адресата и лично передать ей все письма. Позже ему сообщили, что нашли его первую любовь в Москве в доме по Кисельному переулку. Однако настоящей фамилии этой женщины и матери его первого сына Липский своим молодым собеседникам в 1952 году так и не назвал.

Альберт Липский

В Монголии у Липского не раз возникала потребность сопоставить этнографические сведения с археологическими данными. Но ему не доставало соответствующих знаний. Вот почему он, вернувшись из экспедиции, попросился к Д.Н. Анучину в Московский археологический институт. Анучин потом дважды своего нового студента посылал в экспедиции на Алтай. Но тот вместо того, чтобы собирать этнографические материалы, занялся антиправительственной пропагандой среди крестьян алтайского происхождения.

В 1915 году Липский был призван в армию и направлен сначала в военное училище, а потом на фронт. Летом 1917 года он, выйдя из госпиталя, собрался на Дальний Восток. В Хабаровске судьба впервые столкнула его с В.К. Арсеньевым. Известный учёный тогда готовил свою Олгон-Горинскую экспедицию. В последний момент он включил в свой отряд двух студентов. Один из них представился как Н.П. Делле, а другой как Г.Д. Куренков. Но в реальности за фамилией Куренков спрятался Липский.

Есть две версии, объясняющие данную ситуацию. Одну изложил историк А.А. Хисамутдинов. По его гипотезе, Липский, когда началась Первая мировая война, очень боялся попасть на фронт, поэтому «он при помощи своей тётки достал паспорт на имя томского татарина Г.Д. Куренкова, который как инородец не подлежал призыву» (А.Хисамутдинов. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М., 2005). По другой гипотезе, спутник Арсеньева взял себе псевдоним по девичьей фамилии своей матери.

Этапы Олгон-Горинской экспедиции впоследствии детально проследила историк А.И. Тарасова. Она писала:

«Экспедицию Арсеньев снарядил привычным для него набором инструментов и научных приборов, но фотоаппарата на этот раз у него не было, о чём он очень сожалел. 20 ноября Арсеньев и Петров выехали из Хабаровска и на следующий день прибыли на станцию Ин, где их встретили Делле и Куренков, выехавшие из Хабаровска раньше. 22 ноября на нанятых двух подводах они отправились со станции Ин сначала по р. Ину, а потом по р. Урми. Лёд на реках был ещё слабый, ехать пришлось медленно, проводник-эвенк дважды проваливался и сильно вымок. Пришлось сделать остановку на левом берегу Урми, недалеко от устья р. Ина.

23 ноября путешественники поднялись в путь. Идти по тонкому льду с лошадьми было крайне опасно, но иной дороги не было. Девять раз проваливались люди и трижды – передовая лошадь. К вечеру отряд добрался до устья р. Оль (Вол) и остановился в посёлке рыбаков, состоящем из трёх домов. Отсюда решено было двигаться сухопутьем, оставив часть груза на хранение у одного из рыбаков. Путешественники шли правым берегом р. Урми, состоящим сплошь из замёрзшего кочковатого болота.

25 ноября устроили днёвку в нанайском стойбище в Токине, состоящем из одного пустого летнего жилища и русского барака. Здесь на дереве Арсеньев обнаружил висевшие медвежьи лапы, череп и кости. 2 декабря перешли в стойбище Кукан, находившееся в 10 верстах от Колдока, где путешественникам рассказали, что раньше в Кукане устраивали ярмарку (съезжалось до 80 эвенкийских семейств), но позже её перенесли в Талакан, и жизнь в Кукане замерла, даже священник перестал посещать его жителей, а часовня пришла в полное запустение, окна в ней были разбиты. В Кукане пробыли пять дней. Здесь Арсеньев очень много работал с информатором, который был шаманом, от него он узнал и записал в дневник множество интереснейших сведений по географии и этнографии района. В частности, немало записей касается вопросов шаманства. Так, Арсеньев отмечает широкое распространение шаманства, проявляющееся в том, что в каждой семье есть шаманский бубен и каждый старший может хоть немного шаманить, кроме того, перед началом камлания главного шамана всегда понемногу камланят почти все присутствующие, начиная с младших. Большой интерес представляет подробно записанное им в дневнике лично наблюдаемое камлание эвенкийского шамана, при этом не была упущена ни одна деталь костюма и принадлежностей шамана.

Члены экспедиции, кроме Г.Д. Куренкова, пожелавшего остаться у эвенков, вышли из Кукана 8 декабря и, продвигаясь целиной, дошли до гор Дикранга, состоящих, по мнению Арсеньева, главным образом из слюдяного сланца. К вечеру достигли местности Капчакакта, где эвенк из Талакана П.Г. Павлов ждал путешественников с четырьмя оленями и двумя санями» (А.Тарасова. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М., 1985).

Тарасова об одном умолчала: Куренков не просто так остался в эвенкийском стойбище Кукан. Он к тому времени успел вдрызг разругаться с руководителем экспедиции Арсеньевым. Два исследователя разошлись во взглядах на методы опросов тунгусов. Студент Куренков обвинил Арсеньева в дилетантизме и попытался навязать ему собственные правила. Арсеньев советы молодого помощника отверг. В знак возмущения Куренков решил на этом своё участие в арсеньевской экспедиции прекратить. В своём дневнике он 7 декабря 1917 года записал: «Вот уже несколько дней наблюдаю этого «составившего себе имя своими работами» полковника Арсеньева... явившегося когда-то Колумбом в Амурской области, сделавшим как географ общих исследований довольно много, и теперь он разыскивает неизвестное, стараясь открыть Америку, но в то же время называет себя этнографом. Не может систематически и полно опросить даже одного человека. А может, и умеет, да не желает. Я-то склонен думать первое. Когда же попробовал было я это делать – выразил явное недовольство и постарался даже не допустить этого».

Работая среди гольдов, Липский встретил ещё одну исследовательницу народов Нижнего Амура – Нину Вальронд. Она стала его женой и родила ему сына Сергея.

Когда началась Гражданская война, Липский подался в красные партизаны, а затем вместе с женой перебрался в Верхнеудинск. На новом месте Липский устроился инструктором в Прибайкальский союз кооператоров. Этот Союз предложил ему заняться газетой «Прибайкальская жизнь». В благодарность кооператоры помогли исследователю издать за подписью Г.Куренков первую монографию по этнографии гольдов. Но эта работа очень не понравилась другому специалисту по Амуру – И.Лопатину. Оппонент Липского позже писал: «В 1918 г. у гольдов р. Тунгуски были супруги Куренковы (они же Липские). Ими собраны материалы главным образом по охоте и по женской стороне быта гольдов. Однако в печатной небольшой брошюре г. Куренков не делится своими наблюдениями, а теоретизирует и делает смелые обобщения, не приводя для этого достаточно фактов. Вследствие этого брошюрой г. Куренкова, за малыми исключениями, совершенно невозможно было воспользоваться при составлении настоящей моей книги» (И.Лопатин. Гольды Амурские, Уссурийские и Суегарийские. Владивосток, 1922).

В разгар Гражданской войны Липский получил приглашение в Томск на съезд для организации Института исследований Сибири. Он сделал неплохой доклад «Об изучении фольклора туземцев Сибири» и получил средства на новую экспедицию к нанайцам Амура. После экспедиции, писал А.Хисамутдинов, Липский «решил осесть в Хабаровске: устроился на работу в местную продуправу, которая занималась снабжением малых народностей Приамурья, и включился в создание факторий на реке Урми».

Весной 1920 года исследователь перешёл на работу в Комиссариат просвещения по музеям и библиотекам, а 23 октября он стал директором Хабаровского музея. Примерно тогда же, по утверждению Хисамутдинова, началось его сотрудничество со спецслужбами, в частности с Госполитохраной Дальнего Востока.

Осенью 1921 года министр национальных дел Дальневосточной республики Карл Лукс предложил Липскому стать его представителем по делам туземных народностей Амура и Приморья. Но исследователь не оправдал его надежд. Лукс потом очень раскаивался в том, что приблизил к себе этого этнографа.

Проанализировав деятельность учёного в начале 1920-х годов, историк А.Хисамутдинов писал: «История почти не сохранила свидетельств деятельности А.Н. Липского на поприще защиты интересов туземных племён, зато о работе этнографа в органах Госполитохраны, хотя она и была секретной, документов имеется немало. Это и понятно, ведь именно её он считал своим основным занятием. Особенно он гордился так называемой Чумиканской операцией по уничтожению остатков отряда пепеляевцев. 12 сентября 1923 г. сексот ПП ГПУ А.Н. Липский составил отчёт об успешно проведённой операции и сразу же перевёлся во Владивосток преподавателем ГДУ по кафедре народоведения (курс Амурского края). Нетрудно догадаться, что Липский занимался во Владивостоке не только преподавательской деятельностью. Так, например, получив летом 1924 г. положенный ему отпуск, он отправился по заданию ГПУ на вскрытие очередного «гнойника» и, как он сам писал, тем самым «способствовал максимально коротко и с незначительными потерями с нашей стороны провести операцию по ликвидации Тугурского восстания», которое А.Н. Липский буквально потопил в крови. За любовь к оружию Альберта Николаевича называли «этнографом с пистолетом». Чуть позднее это время назовут периодом «полевой этнографии», по аналогии с «полевой (карательной) жандармерией». Коллеги Липского по университету не могли не догадываться о внеаудиторных занятиях преподавателя народоведения. Это и стало причиной его ухода из университета. Но «этнограф с пистолетом» не остался без работы. 8 октября 1924 г. А.Н. Липский был утверждён уполномоченным по туземным делам Николаевского-на-Амуре района» (А.Хисамутдинов. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М., 2006).

Серьёзно улучшить положение аборигенов на Нижнем Амуре Липский так и не смог. Но при нём приезжие начальники хотя бы научились гольдов отличать от гиляков и нани.

Звёздный час Липского наступил летом 1925 года. Он стал главным экспертом хабаровских властей по вопросам малых народов. Ему, в частности, поручили сделать в преддверии первого туземного съезда Дальневосточной области краткий обзор всех племён, населяющих бассейн Амура.

Среди других народов исследователь особо выделил ульчей, которых прежде именовали ольчами. Он подробно остановился на истории названия этого народа. Учёный отметил: ««Впервые об этой народности мы узнаём из отписки Хабарова, который в августе 1652 года сообщил, что «...в осьмой день...» плавания ниже реки Сунгари, после того, как проплыли «на правой стороне на каменю улус велик горазно... с того места люди пошли имя Ачаны». Показание это о том, что ачаны жили «в осьмой день» пути ниже Сунгари, безусловно, ошибочно. Поход Хабарова в противоположность похода Пояркова пестрит убийствами и грабежами; сплошь и рядом читаешь: «...и мы их в пень рубили, а животы их и детей имали и скот...», неудивительно поэтому, что до тех пор пока Хабарову не пришлось остановиться на зимовку, он просто-напросто не знал о том, среди каких народностей проплыл. Да и не мог узнать, когда был занят сплошным грабежом: «...и улусы громили, все улусы... и в тех улусах многих людей побивали и ясырь имали...» и только «...сентября в 29 день наплыли улус на левой стороне, улус велик... и тут город поставили и с судов выбрались в город... и те Ачаяы и ясак к нам привозили...»

С.Патканов в своей работе «Опыт геогр. и стат. тунг. племён Сибири» (ч. II, стр. 119) «имя Ольчи (Ачаны? казаков XVII века), как и некоторые другие названия тунгусских племён «производит» от тунгусского «орон» – «домашний олень» основываясь в этом сближении, видимо, только на созвучии начальных звуков этих имён, да и то в неверном начертании имени ульча, т.к. в действительности, как в этом легко убедиться, между этими именами нет абсолютно никакой связи.

В неменьшую ошибку впадают Широкогоров, а за ним и профессор П.Шмидт, когда производят это слово ольча от тунгусского «уль» – коса и говорят, что «ольчи – это значит человек с косою». То, что понятно для Патканова, оперировавшего данными пере-

писных карточек 1897 г., непонятно для современного исследователя, который, кстати сказать, по поводу этого имени высказал однажды определённое суждение (по адресу Лопатина): «Мы видим, – сказал он в предисловии к своему словарю языка ольча, – что эти имена не столь таинственны, как думают некоторые русские учёные, не будучи хорошо осведомлёнными в ольчском и негидальском языке».

Что же касается происхождения слова ольчи или ольча от уль – коса – по Широкогорову, с чем соглашается и проф. Шмидт, – то едва ли с этим в действительности можно согласиться, хотя бы и допустив, что последний автор является и знатоком языка этой народности. Нельзя с этим доводом согласиться уже потому, что «человеком с косою» можно в одинаковой степени назвать и маньчжур, и ходзё, и гиляк, а не одних только ульча, т.к. все названные народности в силу одних и тех же религиозно-психологических причин носили длинные волосы, заплетая их в косу. Нет такого основания и в языке ульча, где для понятия коса отсутствует термин уль, вместо которого употребляется слово нукто. Что же касается тунгусского языка, на который делает ссылку Широкогоров, то здесь, по соседству с интересующей нас народностью, в языке тунгусов, например джорского рода, известен термин не уль, а ylhop, который в дословном переводе обозначает всякое сплетение, плетение или далее соединение вместе; термином ylhop называют и нитку стеклянных бус. Другие же тунгусы – соседи ульча – для понятия коса имеют термин ilrap и в то время, как джорские, говоря – заплети косы – произносят: ilhакал или ilraка, прочие тунгусы нижней части Приамурья говорят: ilraка или ilrakal.

С одинаковым, если только не с большим основанием можно было бы использовать для объяснения сути термина ульча, слово ульчского языка – yl (или кэнгы) – название одного из крупных видов нерпы – тотемного животного одного из ульчских родов. Что же касается окончания «ча», то оно представляет собою частицу, обозначающую принадлежность. В таком случае можно было бы назвать ульча не «люди с косою», а «люди нерпы или нерпичьи люди», и это тем более, что при б. или м. внимательном взгляде на религиозно-психологические представления, связанные у этой народности с уль или кэнгы соблазн берёт связать эти два термина генетической связью.

Наконец, если последовать примеру Широкогорова и, как он, взять материал для сравнений из языка не самих ульча и не ближайших к ним тунгусов, а б. или м. отдалённых, то и тогда, опять-таки, едва ли не с большим основанием можно использовать термин ольских тунгусов, где имеется весьма созвучное – ylча – нора лисья, собачья, медвежья берлога; этим же термином называют и могилу в земле, а иногда и землянку человека. Если мы припомним, что у ульча, хотя и не было земляных жилищ вроде гилякских, то всё же было широкое распространение землянки типа «гольдской» хулбу – плюс частица «ча», как обозначающая принадлежность, – получается весьма соблазнительное предположение, что ульча есть жители земляных жилищ, жители нор, а таким именно тунгус, обитатель корьевого шалаши, скорее всего, мог бы окрестить ульча проводившего зиму в землянке.

Что бы там ни было, но за названными терминами и связанными с ними представлениями есть столько же основания, сколько и за уль – коса и человек, люди с косою Широкогорова – Шмидта. Но на них мы не остановимся – то только параллели. Нам кажется, что прав проф. Шмидт, когда говорит, «что эти имена не столь таинственны, как думают некоторые... (не только русские. – А.Л.) учёные, не будучи хорошо осведомлёнными в ольчском... языке».

Ульча, помимо этого самоназвания, называют себя ещё общераспространённым именем на-най или на-най и мангу-най, т.е. этого места человек или амурский человек. При этом мангу или мангу обозначает не Амур в собственном смысле, а всякую большую реку» («Первый туземный съезд ДВО», Хабаровск, 1925).

Сделанный Липским в 1925 году обзор сохранил актуальность до наших дней. Как заметила Е.Шаньшина, Липский «составил наиболее полный для того времени список ульчских родов, попутно сообщив новые сведения о хозяйстве, занятиях, поселениях поло-возрастном составе народности и её медико-санитарном состоянии» («История и культура ульчей в XVII–XX вв.», СПб., 1994).

После туземного съезда Липский попытался занять в органах власти, отвечавших за национальные проблемы, и в дальневосточной этнографии доминирующие позиции. Но этому отчаянно воспротивился Арсеньев. Конфликт двух учёных сильно обострился после выхода в 1925 году критической работы «Гольды» И.А. Лопатина». На её титуле Арсеньев сделал весьма резкую надпись: «Липский (он же Куренков, а может быть, и не Липский, возможно, у него окажется и третья фамилия) имеет личные счёты с И.А. Лопатиным, поэтому выступает против него при каждом удобном случае. Настоящая статья написана именно под этим углом зрения. Это не есть критический обзор – это один из «выпадов» против личности И.А. Лопатина, который Липскому, как и я, не протягивал руки».

Арсеньева попробовал поддержать патриарх отечественной этнографии Лев Штернберг. В письме к Арсеньеву он заметил: «Очень

жаль, что Липский назначен секретарём Туземного отдела, хотя на официальный запрос я дал отрицательный отзыв. Его хулы не бойтесь. Вас достаточно знают. Наконец, Вас читали, а будут ли его брошюру читать, это ещё вопрос. Здесь мне попалась какая-то статейка о народах Амурского края, где всё слишком уж грубо наврано».

Но мнение Штернберга ни на что не повлияло. Может, потому что Лопатин остался в Китае, а эмигрантов в середине 1920-х годов наши власти уже не жаловали.

Следующий раунд схватки между Липским и Арсеньевым развернулся в апреле 1936 года на первой конференции по изучению производительных сил Дальнего Востока. Арсеньев в рамках этого симпозиума сделал на секции «Человек» два программных доклада: «Население Дальнего Востока как производительный фактор» и «Колонизационные перспективы Дальнего Востока». Липский оба выступления учёного подверг сокрушительной критике.

Липский справедливо не согласился с утверждением Арсеньева, что на Дальнем Востоке живут 22 тунгусских народности. «Дело в том, – заметил Липский, – что целый ряд народностей, которые докладчиком считаются за самостоятельные, представляют собой территориальные или родовые группы, объединённые одним родовым наименованием или территориальным именем. В.К. Арсеньев сплошь и рядом употребляет эти термины в качестве названия самостоятельной народности. К числу родовых терминов надо отнести термин манегры: манегир – имя тунгусского рода, распространённое затем, по незнанию, и на др. роды. Термин орочен или орончен значит оленевод. Этот термин, определяющий известную стадию хозяйственного развития, докладчик употребляет в качестве термина, определяющего этническую особь, будто бы отдельную, самостоятельную, обособленную народность. Если пойти по этому пути, то мы можем создать национальности вроде канцеляристов, потому что они сидят в канцеляриях, коневодов, потому что они имеют коней, и т.д. Примеры подобного рода нам известны. Благодаря такому подходу мы имеем сейчас неправильности и в родовой номенклатуре. Гольдский род Онинка получился от «Они» – это значит речка, на наречии средне-гольдском Онинка – живущие на речке. Что касается экономического быта туземного населения, в докладе В.К. Арсеньева есть прямые неточности; В.К. Арсеньев говорит: «не тунгусы ведут оленей за собой, а олени тунгуса». А между тем оленеводство никогда не поглощало внимания тунгуса в полной мере, и мы видим в южной части Охотского побережья, как тунгусы отсылают летом оленные стада в гольцы, а сами идут на взморье ловить рыбу и лишь осенью сходятся в долинах рек, когда нет уже мошки, комара, пауков. Гиляки, говорит В.К. Арсеньев, подвергались наибольшему влиянию русских, а между тем, в действительности, если только какая-либо из народностей низовьев Амура и сохранила в сильнейшей степени чрезвычайно многие черты самобытности, так это гиляки. Тому доказательство их бытовой уклад, их религиозные обряды, нормы их обычного права, их чрезвычайно устойчивые формы семьи и брака» (Производительные силы Дальнего Востока. Выпуск 5. Человек. Хабаровск, 1927).

Второй доклад Арсеньева Липский раскритиковал за серьёзные пробелы в описании процессов земледелия на Нижнем Амуре в прошлые века (Арсеньев считал, что земледелие на Нижнем Амуре прекратилось в тринадцатом столетии, а Липский утверждал, что оно прекрасно существовало в регионе в семнадцатом веке).

Третий раунд последовал в 1927 году. Липский не принял новую книгу Арсеньева «Быт и характер народностей Дальневосточного края», которую учёный издал в соавторстве с литератором из Харбина Е.Титовым, и подготовил брошюру «Как не следует писать о туземцах». При этом Липский не ограничился только критикой научных взглядов своих оппонентов. Он приклеил им политические ярлыки. Возмутившись, Арсеньев и Титов сочинили свой ответ. В конце своего материала они заявили: «Покончив с разбором вопросов, поднятых критикой Липского по предметам наших работ, мы ставим на суд читателей всю несостоятельность, выражаясь мягко, как самой сути этой критики, так в особенности приёмов её, не говоря уже о жалких потугах Липского перевести некоторые вопросы чисто научного характера на политику. Литературные выступления подобного рода ни в малой степени не способствуют обогащению наших знаний в области краевой этнографии, они только раздражают, сеют вражду и отнимают возможность спокойной творческой работы. Говорить о том, чего не знаешь, глупо, а выдавать заведомо ложные факты за правду – неблаговидно». Но издатели эту полемику опубликовать на рискнули.

Не дожидаясь окончания конфликта, Липский предпринял очередную экспедицию, отправившись изучать быт нанайцев селения Толгон. Он зафиксировал, как шаман Богдано Онинка справлял обряд провода душ в «царство мёртвых», вёл диалог с умершими предками привезённых в буни душ и сжигал куклы.

С 1930 по 1935 год Липский служил в ОГПУ. Потом он наладил тесное сотрудничество с Институтом антропологии, археологии и этнографии. В 1936–1938 годах ему предложили возглавить под эгидой этого института Нижнеамурский этнографический отряд.

Уже в старости Липский не

скрывал, что в 1937 году он, работая в амурских сёлах, помимо сбора этнографических материалов изучал также настроения среди малочисленных народов и постоянно информировал спецслужбы о наличии в Приамурье японско-маньчжурских агентов. Догадываясь об истинном лице учёного, власти посёлка Найхин в 1937 году попробовали сработать на опережение и отправили в органы НКВД свой донос. Липский вынужден был долго оправдываться. В одном из своих ответов он сообщил, что местные работники предъявили ему и его жене следующие обвинения:

«1. Отряд экспедиции в целом и т. Липская в частности игнорировали местные органы власти.

2. Вели свою работу оторванно от общественности села Найхина, не увязав её с работой местного комитета нового алфавита.

3. Способствовали восстановлению старого обычая изготовления фаня – изображения души умершего родственника.

4. Киносъёмками шаманских действий и увозом для съёмки подлинного шамана способствовали возрождению шаманства, а высокой оплатой труда шамана ставили в неравное положение с ним советских и колхозных работников.

5. Мешали ведению антирелигиозной пропаганды местными организациями.

6. Метод «мирного» (без антирелигиозной пропаганды) сбора материалов у стариков, «заигрывание» с пожилой не советски настроенной частью населения.

7. Практиковали изучение и киносъёмку пережитков старых форм социального строя и шаманства у стариков, но не у советски настроенной молодёжи, изучали и снимали подлинные явления, а не инсценировку их <...>

По поводу инкриминируемых нам обвинений и предъявляемых к нам требований, хотя, как они ни бессмысленны, считаю необходимым сообщить следующее:

I. Абсолютно неверно, что отряд игнорировал местные органы власти. Следуя по предложенному нам Институтом антропологии и этнографии маршруту вниз по Амуру и не имея возможности специально выехать для доклада о задачах отряда районным организациям, мы вместе с тем считали для себя обязательным информировать органы соввласти по месту наших работ. Нами были сделаны доклады (в пределах Нанайского района) о задачах и методах нашей работы президиумам следующих сельсоветов и отдельным представителям соввласти <...> (далее перечень сёл: Сикачи-Алян, Петропавловское, Кэфер, Мухун и др., где были сделаны доклады. – Ред.).

II. Оторванность нашей работы от «общественности», т.е. местного Комитета нового алфавита, признаю. Считаю необходимым отметить, что какой-либо увязки нашей работы с работой комитета нового алфавита не могло быть. К этому имелось несколько причин, главнейшие из них следующие:

1. Работники Комитета нового алфавита – это «латинисты» в вопросе алфавита для языка гольдов, тогда как мы являемся ещё с 1926 г. (и по сие время) сторонниками русской основы <...>

2. Задача нашей работы <...> собирание материалов по пережиткам доклассового общества <...> и какая бы то ни было наша рабочая увязка с работой комитета нового алфавита немедленно вызвала бы возражение Института антропологии и этнографии Академии наук, которые заинтересованы в получении как можно больших материалов по программе его исследовательской деятельности <...>

III. «Способствовали восстановлению старых обычаев и, в частности, изготовления фаня – изображения души умершего родственника». Заявление такого рода могло быть сделано лицами или абсолютно невежественными в этнографии гольдов, которые даже в Найхине не видели ничего дальше своего носа, или же с клеветнической целью. Допускаю наличие и того и другого <...> Из 38 селений гольдов Нанайского района в 24 селениях имеется 71 активно действующий шаман (41 мужчина и 30 женщин), в том числе 8 касатой шаманов, т.е. таких, которые выполняют обряды каса – доставления души покойника в царство мёртвых».

Липский, видимо, рассчитывал на свои связи с влиятельными сотрудниками спецслужб и думал, что его семью тронуть не посмеют. Поэтому летом 1938 года он решил продолжить экспедицию к нанайцам Амура. И просчитался. Его арестовали практически сразу по прибытии в Хабаровск.

В 1939 году Липского приговорили к пяти годам лагерей. Почти весь срок он отбывал на лесоповале в бассейне Амура. Позже в лагере ему сообщили о смерти жены от голода в блокаду и гибели двух сыновей на фронте.

Выйдя на свободу, Липский в 1943 году уехал в Абакан. Работая в Хакасии, он открыл и раскопал могильник афанасьевской культуры (III–II тыс. до н.э.). Позже учёный рассказывал: «В городе Абакане прокладкой траншеи от электростанции к зданию госбанка было прорезано несколько древних погребений, а против дома № 19 по Советской улице, на глубине 0,5–2,0 м, обнажён угол бревенчатого сруба. Вскрытое погребение таштыкской эпохи находилось у самого борта первой надпойменной террасы древнего русла реки Абакана. Эта площадка сложена мелкогалечными песчано-глинистыми образованиями, покоящимися на мощном слое крупного речного галечника. С помощью И.Ф. Спирина и сотрудниц госбанка это погребение было мною раскопано.

Раскопка поверхностного слоя на месте обнаруженного угла бревенчатого сруба вскрыла небольшую по площади, всего 3,6 х 4,0 м, ограду курганчика, состоящую из редко поставленных песчаниковых плит, высотой до 40 см. Все камни оградки установлены с некоторым наклоном внутрь. Пространство, образуемое оградкой, заполнено насыпным песчаным грунтом, почти вовсе свободным от примеси галечника. К этой насыпи под углом около 50 градусов и были как бы приставлены плиты оградки. Таким образом, почти квадратная насыпь, обставленная каменными плитами, образовала над погребением усечённую, очень низкую пирамиду. Первые брёвна сруба обнаружены на глубине около полуметра от подошвы курганчика. В котловане, размером около 3,2 х 3,6 м, не совсем плотно прилегая к его стенкам, был сложен сруб в шесть венцов лиственничных брёвен, толщиной около 25 см, с рубкой углов в лапу. Между двумя нижними венцами сруба, что наиболее сохранились, и грунтовой стенкой котлована найдено значительное количество лиственничной коры и бересты. В большинстве случаев корьевые пластины стояли в вертикальном положении, т.е. так, как они находятся на дереве и как их современные хакасы подтаёжных районов используют в покрытии своих охотничьих шалашей. Возможно, что такого рода укладка коры вызывалась необходимостью изоляции погребения от влаги или от засыпания песка внутрь сруба между неплотно сложенных брёвен, а может быть, и в порядке подражания жилищу» («Краеведческий сборник», Абакан, 1956, вып. 1).

Так Липский обнаружил таштыкский домик мёртвых. Ничего подобного в хакасской этнографии он не знал, но ему было известно гольдское хурбу – землянка, представляющая собою маленький бревенчатый сруб, опущенный в яму и обсыпанный по сторонам землёю.

Впоследствии Липский свои наблюдения изложил в статье «Некоторые вопросы таштыкской культуры (II в. до н.э. – IV в. н.э.) в свете сибирской этнографии», опубликованной в 1956 году. Как уже в 2003 году писал С.Вайнштейн, в основу этой работы были положены материалы раскопок Липского в долине р. Абакан. «Им был обнаружен сруб – «домик мёртвых» с двумя погребёнными в нём людьми. Липский ставил вопрос о назначении ряда сопроводительных предметов в «домике мёртвых», в частности погребальных масок. Следует сказать, что назначение подобных масок находило в мировой литературе различное толкование, но, как правило, без привлечения материалов сибирской этнографии. Опираясь на собранные им материалы по этнографии хакасов и особенно народов Амура, он приходит к выводу, что маски эти были нужны не только для сохранения душ умерших, но и для защиты интересов своего рода, в том числе отправляемого в загробный мир родового имущества. Он даёт и свою оригинальную трактовку ряду других погребальных обычаев древних жителей хакасских степей. Заключая статью, Липский сделал важный вывод, что обращающее на себя внимание сходство ряда явлений археологии Енисея и этнографии народов Амура подтверждает мнение ряда исследователей о взаимодействии в прошлом древних угорских и тунгусо-маньчжурских народностей. В этой же статье он выразил сомнение в верности сложившегося представления о генезисе енисейских кыргызов на основе таштыкской культуры. Данное положение Липского было позитивно рассмотрено в трудах видных историков и археологов В.Я. Бутанаева и Ю.С.Худякова, внесших большой вклад в изучение енисейских кыргызов» (сборник «Репрессированные этнографы–2», М., 2003).

Уже после войны Липский женился на вдове своего младшего сына, которая родила ему дочь Викторию и сына Сергея (он потом в 16 лет повесился).

В последние годы жизни Липский работал над монографией «Енисейские изваяния в свете сибирской этнографии: Очерк древнего изобразительного искусства на Среднем Енисее». Рукопись этой работы высоко оценил академик А.П. Окладников. Но она до сих пор не опубликована.

Умер Липский 21 февраля 1973 года в Абакане.

СЕЛЬКУПСКИЕ СКАЗАНИЯ

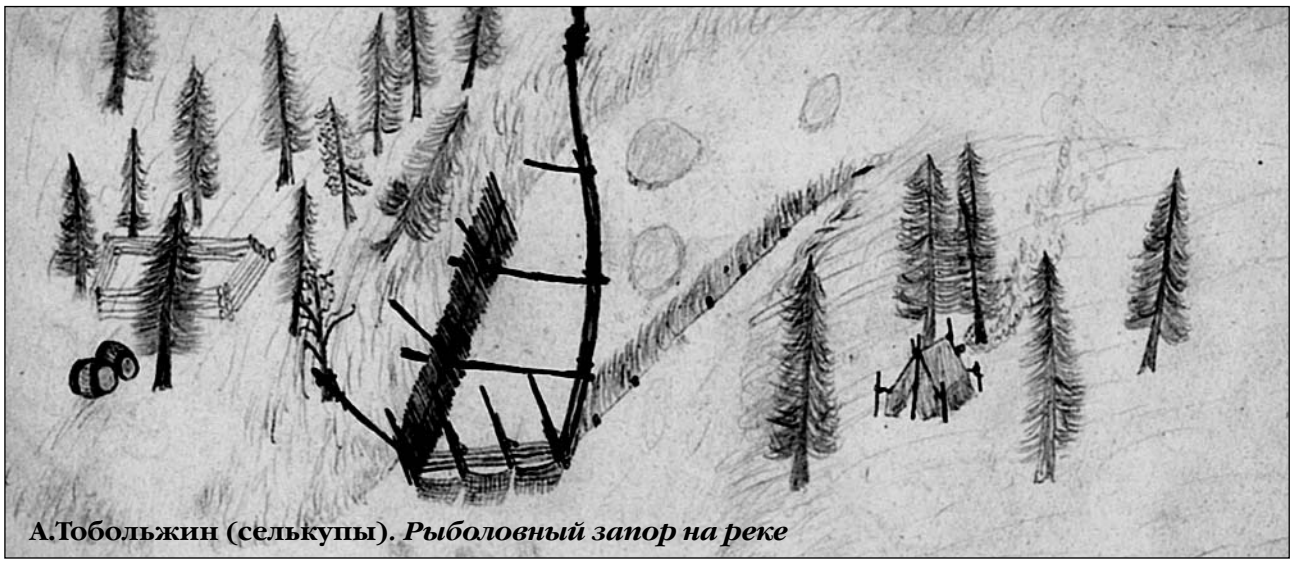
Одно из самых надёжных свидетельств существования какой-либо самобытной культуры – это эпос. Эпос всегда имеет самые древние истоки, в нём хранится информация о мифологии народа, его традициях, обычаях, исторических событиях. К сожалению, эпос крайне хрупок, очень многие эпосы оказались утраченными полностью или частично. Хотя эпосы могли передаваться из уст в уста столетиями, в случае разложения и гибели культуры они могли исчезнуть за одно поколение почти без следа. Поэтому крайне важно успеть записать эпос – до того, как сам народ, сказитель эпоса, забудет его.

Иван ГОБЗЕВ

Степан Чидигезов (селькупы). ***Пейзаж с рекой***

Селькупы – малочисленная народность западной Сибири – имеют свой эпос. Правда, только фрагментарный и в искажённой форме. Этот эпос, однажды исчезнув, вновь появился благодаря работе отечественных исследователей. Эпос – свидетельство своеобразия народа, источник его мировоззрения и взаимоотношений друг с другом и природой. Эпос – это также пример для подражания, герои эпоса задают образцы для поведения. Когда малочисленный народ утрачивает свои истоки, забывает свой эпос, теряет связь со своей культурой и традиции, он утрачивает смысл жизни. Потому что исчезают ориентиры, веками служившие метками на жизненном пути предков. Трагедия народа, теряющего связь со своей культурой, хорошо отражена в автобиографической повести селькупа Владимира Киргеева «История деревни Иготкиной». Понимал ли это сам Киргеев или нет, но его простой и незатейливый рассказ глубоко трагичен в том смысле, что он изображает гибель его родного племени. Даже не гибель, а жизнь после смерти – потому что ничего от коренной культуры селькупов в его описании селькупского поселения не осталось.

Что же он рассказывает об этой деревне, родной для него и его отца? В первую очередь то, что его родные и соплеменники страдали алкоголизмом и по любому поводу напивались. И даже без повода. Будь то охота, рыбалка, праздник, какое-то собрание или просто если есть чего выпить – селькуп немедленно выпивает. Конечно, в этом обвиняются купцы (причём, что странно, свои же – купцы-остяки) и прочие зажиточные негодяи, которые спаивают наивных дураков и отнимают у пьяных последнее. Кроме рассказов о самогоне в повести можно найти любопытные сюжеты о рыбалке и охоте и красивые описания природы. Но ни слова, нет ни единого слова или даже намёка на особенности самобытной культуры селькупов. Нет ни их мифологии, нет ни шаманов, ни обычаев и традиций, ни слова о мировоззрении и верованиях, в общем, нет ничего, что позволило бы отличить селькупское поселе-



А.Тобольжин (селькупы). ***Рыболовный запор на реке***

ние от обычной спившейся русской деревни. Это наводит на подозрение, что сам автор – дитя уже мёртвой культуры, живший уже вне её и знавший о ней только понаслышке. Что описывает Киргеев? А вот что:

«Как не пить, когда уж налили. И устали, понятно. Налил купец и Патриту, сунул нам в руки по прянику... Вот так и ловили нас, как рыбу на крючки. Хитрый купец-остяк, умел найти подход». Так Киргеев описывает рыбалку. Далее следует такая сцена – в течение нескольких дней рыбаки наловили очень много рыбы. Но потом все перепились до такой степени, что всю рыбу пропили за бесценок. И в этом обвиняется, конечно, купец, который им наливал, а потом всю рыбу увёз. Правда, нелепость в том, что купец сам остяк – и он почему-то, в отличие от них, не пьёт.

В другом месте рассказывается, как в остятскую деревню приехал проситься жить русский мужик. По этому поводу остяки устроили собрание. И вскоре напились. А когда напились, то началась драка, потому что, как поясняет Киргеев: «...такое уж было время – не только борьба, но драки или «кулацкие бои» считались праздничной забавой. Правда, не ясно, о каком празднике идёт речь, – ведь собрались-то, чтобы обсудить вопрос о том, принимать или нет русского в деревню.

«К Савелию подошёл Михаил Кабарыла, родственник Тобольжина, и ударил его. К Михаилу Кабарыле подскочил Пётр Чаршин. И завертелся дым коромыслом. Остяки лупили друг друга; прибежали жёны, вцепились в своих мужей и поволокли их в избы».

Вот такой селькупский быт описывается в «Истории деревни Иготкиной». Кончается рассказ тем, как главный герой, сам рассказчик, сбегает из дома учиться в интернат. Во всей истории ни слова не сообщается о специфике жизни селькупов – точно такой же рассказ мог быть о любой русской деревне. Можно, правда, предположить, что Киргеев умышленно скрывает образ жизни своего народа, его обряды и обычаи, полагая, что чужакам этого знать нельзя, поскольку это знание сакральное, доступное только для его племени. Но сейчас этого уже не выяснить. Единственное, что можно утверждать с уверенностью, – если вдруг захочется что-нибудь разузнать про селькупов, ни в коем случае не следует читать «Историю деревни Иготкиной», потому что может сложиться неверное представление об этом народе. Да и вообще не стоит её читать – всё-таки хороший охотник и рыбак должен ловить рыбу и зверя, а не книги писать.

К счастью, этим текстом сведения о культуре селькупов не исчерпываются. Есть ещё и эпос – «Матур Итте». К сожалению, он дошёл до нас в прозаической записи и лишь усилиями Анатолия Преловского вновь обрёл стихотворную форму. Правда, нельзя утверждать, что аутентичную. Кроме того, эпос слишком краток, что наводит на мысль о том, что перед нами только его часть – один из эпизодов из приключений главного героя. В заключительной части сравнительно маленького текста сообщается:

Вот! – обошли мы дорогою долгой
край стародавних преданий, но всё же
не рассказали о том, как у Итте
с дочерью духа лесов народился
сын и медведем бродил по урманам.
Стал прародителем он кворги-тамдер –
кетских селькупов, которые помнят,
что происходят от матура Итте.
Не рассказали о том, как селькупов,
часто тревожа, теснило на север
конное войско в железных доспехах,
что называлось тогда: томель-купы.
Как под водительством матура Итте
враг был отогнан, разбит и ни разу
больше к селькупам ходить не пытался –
Итте народ защитить постарался.
Не рассказали мы, как приключались
с матуром Итте различные штуки:
то умирал он по собственной воле,
то оживал он от женской заботы...

То есть складывается впечатление, что большая часть этого замечательного эпоса до нас

не дошла, во всяком случае, не дошла в виде эпоса. Хотя и могла сохраниться в виде отдельных непоэтичных рассказов, на которые нередко распадаются эпосы.

Как бы то ни было на самом деле, эпос «Матур Итте», безусловно, представляет культурологическую и художественную ценность и является достаточно надёжным свидетельством селькупской мифологии и быта. Причём, что любопытно – несмотря на нереальность рассказываемых в эпосе событий, свидетельством более надёжным и достоверным, чем рассказ Владимира Киргеева.

Главный сюжет эпоса – борьба главного героя, матура Итте, со злом по имени Пюнэ. Пюнэ – страшный и грозный великан, бессмертный и владеющий мощной магией. Итте – один из немногих людей, которого не убил и не съел Пюнэ, потому что старуха-шаманка спрятала его в варежке. Итте вырос отличным рыбаком и охотником, и ему было суждено уничтожить Пюнэ.

Любопытно, что в эпосе Итте сам провоцирует зло, которое (в лице Пюнэ) первым не нападает на него – в одном эпизоде герой обкрадывает слепого старика:

Чуть ли не рядом старик
с лодки рыбачил: таскал
рыбин одну за одной.
Итте заметил, что слеп
этот старик, и тайком
начал с крючка у него
крупную рыбу снимать.
Лодку наполнив свою,
Итте обратно поплыл.
Да недалеко уплыл.

Не совсем понятно, почему вдруг герой Итте оказывается таким негодяем, что обкрадывает слепого старика, которым притворился сам Пюнэ, чтобы проверить честность селькупа. И после этого случая, разумеется, он посылает за Итте своих прислужников-духов, чтобы убить его.

Однако впоследствии Итте совершает достаточно добрых дел – например, спасает огромных рыб и птицу от гибели (для описания больших размеров используется замечательный образ: «птица была как гора, может быть, больше горы», «рыба была как гора, может быть, больше горы»). В итоге Итте с помощью друзей, спасённых им, и духов побеждает Пюнэ, тем самым делая великое благо всем людям. Итте – образ мудреца, охотника и воина, который живёт в согласии с природой, сильного, смелого и находчивого. Его жизнь, поведение в различных ситуациях и стремления как бы задают образец для каждого селькупа и в то же время раскрывают содержание мироощущения и традиционного быта его народа. В этом смысле «Матур Итте», как, впрочем, и любой другой эпос, неоценим.

Алексей Агилев (селькупы). ***Олень***

ЗАЖИГАЛКА

Карпеко окончил училище с отличием, и у него было право выбора флота. Он выбрал Балтийский. Там осваивалась новая техника. Его назначили на серийную «малютку» проекта А-615 с единым двигателем для подводного и надводного плавания. Слыханное ли дело? Лодка под водой на трёх дизелях при форсажном ходе могла развить скорость до пятнадцати узлов. Глеба не смутила дурная слава лодок этого проекта. Из-за пожароопасности их так и называли – «зажигалками». Дело в том, что при работе дизелей по замкнутому циклу использовался жидкий кислород. В трюме четвёртого отсека размещалась цистерна с 8,5 тоннами этой взрывоопасной жидкости. В училище Карпеко изучил тактико-технические данные «малюток» проекта А-615 и был уверен, что ему удастся усовершенствовать, сделать безопасной эксплуатацию машинной установки лодки, не имеющей аналогов в мире.

Служба пошла хорошо. Год Глеб проплавал помощником командира БЧ-5, затем его назначили командиром боевой части. В бригаде Карпеко прилепили прозвище Умник. В отпуске он большую часть времени провёл в Ленинградском химико-технологическом институте, изучая методы определения концентрации кислорода в замкнутых пространствах и различного рода химпоглотители. Перед выходом в море Глеб с подчинёнными дотошно проверял заведование, чтобы, не дай бог, не подтекало масло, его пары создавали горючую смесь, и не было утечки кислорода. «Малютка» – единственная в бригаде лодка из серии – ходила на полную автономность, работая в различных режимах. Своей въедливостью Глеб окончательно испортил отношения с проектировщиками и бригадным начальством.

В сентябре 1957 года «малютку» после очередной доработки спешно выгнали на мерную милю в акватории Таллина. Погода стояла ясная, машинная установка работала как часы. Инженер-капитан-лейтенант Карпеко сам замерял газоанализатором концентрацию кислорода в отсеках и в выгородке дизелей. И вообще у него была своя точка зрения по поводу пожароопасности «зажигалок».

Глеб вытер лицо платком, крикнул в переговорную трубу:

– Товарищ командир, прошу добро наверх.

– Что-нибудь случилось, механик?

– Нет, воздуху глотнуть, к полигону подходим.

– Добро.

На «малютке» всё узкое. Человек с солидными габаритами с трудом протиснется. Флагмех уже два раза застревал в дизельной выгородке.

С командиром установились дружеские отношения. Жора Варакин тремя годами старше, знакомы с Ленинграда. Курсант Варакин из училища подплава был постоянным соперником Карпеко на первенстве Высших военно-морских учебных заведений по плаванию.

Упругий ветер ударил Глеба в грудь, забил рот, он задохнулся, закашлялся, натянул потуже пилотку.

– Да, свежеет. Ветродуи в очередной раз облажались.

– Выходит так. – Командир поднял воротник куртки. – Нужно поспеть выполнить программу до шторма.

По серому куполу неба ветер разметал облака, словно кто-то вспорол перьевую подушку, море было черно, угрюмо, в отдалении вскипали жёлтые барашки.

– Сигнальщик, не спать! Смотреть в оба.

– Есть смотреть в оба, товарищ командир.

Глеб соскользнул на поручнях в пахнущий мокрой резиной центральный пост, сгибаясь, прошёл в четвертый отсек. Его помощник, Костя Шереметьев по прозвищу Граф, сидел в штатном креслице, рядом прилепился химик-оператор Сема Пильгун. Оба рослые. Пост управления был устроен так, что весь поход они вынуждены были сидеть – не выпрямишься.

Отходили мерную милю в надводном положении, уже заметно покачивало. Лодка погрузилась на тридцать метров. После небольшой качки у Глеба гудело в голове, слизистый ком подпирал к горлу. Слышно было громкое хрумканье – Шереметьев грыз сухари. На него качка действовала странно. Он постоянно хотел есть. Тощий, как жердь, парень в день съедал два ки-

лограмма сухарей. Фельдшер Гайдамович, ведавший на лодке продовольствием, както сказал Графу: «Грызун, я на тебя начёт сделаю. И жрёт, и жрёт... И куда только в тебя лезет?» Шереметьев ухмыльнулся: «Я не виноват, у меня болезнь Гиршпрунга». Фельдшер был человеком тёмным, не выносил подначек, потому возмутился: «Нет такой болезни, маслопуп!» – «Есть, посмотри в энциклопедии. У меня кишечник в два раза длиннее, чем у тебя, клистирная трубка. Надо же заполнить трюма».

Сдерживая позыв на рвоту, Карпеко прошёл в центральный пост уточнить у штурмана режим прохождения мерной мили в подводном положении. Это его и спасло.

Взрыв произошёл в 15.05 – механик успел взглянуть на часы. Лодка содрогнулась, клюнула носом, силовая установка заглохла. Через некоторое время Глеб услышал шипение и лёгкий треск, в голове мелькнуло: «Горим...»

Командир дал команду:

– Боцман, выровнять лодку! Продуть цистерны по-аварийному!

Лодка всплыла, и сразу же набиравший силу шторм стал заваливать её с борта на борт. Что-то с грохотом упало на палубу. Слышно было, как волна ударяет в рубку и с шипением оседает.

– Осмотреться в отсеках, доложить обстановку!

По межотсечной связи откликнулись командиры первого, второго и седьмого отсеков. Четвёртый, пятый, шестой отсеки угрюмо молчали.

– Отдать якоря, радисту – сигнал аварии. Механик, твои предложения!

– Загазованность других отсеков неизбежна. Личному составу включиться в индивидуальные дыхательные аппараты. И ещё, товарищ командир, необходимо уточнить обстановку в кормовых отсеках.

– Шторм, Глеб. Не добраться до входного люка в седьмой отсек. Людей смоет за борт.

– Меня не смоет. Главное – дифферент на нос, чтобы не заливало корму. Я управлюсь, боцман подстрахует.

– Одного я тебя не пущу. Где Шереметьев?

– Скорее всего, погиб.

– Тогда пойдешь с помощником, боцман на страховке. Помощник, слышал?

– Так точно.

– Всех людей наверх, разместить на палубе, мостике и в ограждении рубки. Если рванет цистерна с жидким кислородом, хоть кто-то спасётся. Боцман, запасись шкертом, пусть моряки, что на палубе, привяжут себя к леерным ограждениям, не то за борт сыграют.

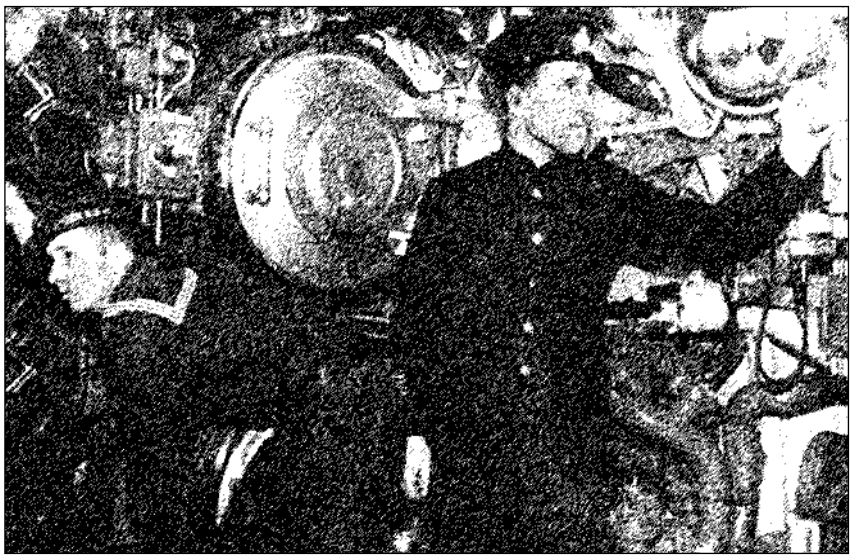
И тут погас свет. Вырубилось аварийное освещение.

– Твою мать! Посветите фонарём. Всем утеплиться – и наверх. Боцман, прими балласт в носовую цистерну, дай дифферент на нос, чтобы кормовой люк не заливало.

Жёлтый пляшущий свет скользнул по отсеку. Центральный пост с тумбой перископа и приборами показался Глебу маленьким и ненадёжным.

– Механик, хлебни. Помогает от качки. – Командир протянул Глебу флягу.

Спирт обжёг глотку, разом погасил тошноту. Голова работала чётко. Офицеры поднялись на мостик. Чёрные тучи неслись над головой. Штормило. Лодка с приподнятой кормой выглядела странно, волна, не встречая препятствий, ударяла в рубку, заплёскивая пенные язы-



ки через плексигласовый козырёк. Моряки жались друг к другу. Глеб промок, но не чувствовал холода. К командиру протиснулся боцман Лебедко. В телогрейке, оранжевом спасательном жилете, кривоногий, с огромными красными ручищами, он походил на каменистого краба. На ногах толстые, домашней вязки носки.

– Товарищ командир, люк седьмого отсека отдраен, я натянул страховочный конец. Пущай хлопцы за кончик держатся, а то смоет... Отсек задымлён, хлопцы в ИДА...

– А сам как до люка добрался?

– Прогары скинул и бочком.

– Бочком это правильно. Ну, вперед, братцы. Помощник, ты старший.

– Добро. – Капитан-лейтенант Неверов натянул капюшон куртки. Волна саданула в рубку, окатив всех стоящих на мостике. Помощнику досталось больше всех.

– Пошли, механик! Как вернёмся, первым делом набью морду метеорологам. Ветродуи бля... шторм проморгали.

У люка в седьмой отсек Глеба едва не сшибло волной, с трудом удержался за скользкий конец. Хорошо, аварийный фонарь не сорвало, а то что бы они делали в темноте отсека. Натянул шлем-маску ИДА, включил подачу кислорода. Помощник командира был уже в отсеке. Луч фонаря высветил пятерых моряков, включившихся в индивидуальные дыхательные аппараты. В темноте отсека они походили на инопланетян. Неверов знаком показал, чтобы они покинули отсек. Карпеко прикоснулся к переборке шестого отсека и отдернул руку – в шестом продолжался пожар, если пламя перекинется в седьмой – кранты. Единственное, что он может сделать, – задраить люк в седьмой отсек, прекратить доступ кислорода, тогда пламя погаснет. Так уже было. О ёмкости с жидким кислородом думать не хотелось. Рядом слышалось хриплое дыхание помощника командира. Неверов помахал рукой, указывая на люк.

На последней ступеньке трапа Глеб сорвал маску, глотнул свежего воздуха, его тут же окатило волной. И пока он, раскорячив ноги, плёлся за помощником по пляшущей палубе, цепляясь за осклизлый конец, физически ощущал на себе взгляды моряков, привязавших себя шкертами к леерным стойкам. Эти взгляды он будет помнить всю жизнь.

На мостике их ждал командир. Офицеры и матросы расступились, освобождая пространство.

– Ну что, механик?

Карпеко с трудом разлепил губы:

– По всем признакам в четвёртом, пятом, шестом – пожар. Люк в седьмой задраили, личный состав из отсека эвакуирован.

– Рвануть может?

– Может.

– Что-то ещё можно сделать?

– В случае взрыва цистерны нужно хотя бы снизить давление ударной волны, для чего нужно срочно разгерметизировать прочный корпус.

Вытерев ладонью мокрое лицо, Глеб, стараясь перекрыть грохот шторма, крикнул в ухо командиру:

– Мы с боцманом попытаемся открыть захлопки на газоотводе дизеля и клинкет на вытяжной вентиляции, потом уберем дифферент на корму. Дальше, как повезет.

– Добро, действуйте.

Управились за полчаса. Лодку на ровном киле раскачивало, как куклу-неваляшку. Глеб спустился в центральный пост, переборка в четвёртый отсек была горячей, значит, угроза взрыва не миновала. Решение командира единственно верное – нужно спасать личный состав и ждать помощи. Бороться за живучесть в этой ситуации бессмысленно, только потеряем людей.

Часа через два к месту аварии подошли эсминец «Стойкий» и спасательное судно «Чугуш». По терпящей бедствие лодке прокатилось слабое «ура». Молчали только командир и механик. Глеб знал, что в прочный корпус уже поступила вода, «малютка» осела, качать стало меньше. Подать на лодку буксирный конец при такой штормовой волне и ветре вряд ли удастся.

Так и вышло. Буксирный конец подавали трижды. После того как на один из винтов спасателя намотался стальной трос, заводку буксира решили прекратить. Шторм нарастал, волны перекатывались через лодку, видно было, как в жёлтой пене мелькают головы матросов и старшин, привязанных к леерам.

– Сигнальщик! – крикнул командир.

– Есть сигнальщик.

– Дай семафор на эсминец: «Прошу снять людей. Командир». Где штурман?

– Здесь, товарищ командир.

– Погляди, что там на «Стойком»? Идёт к нам?

– Никак нет. Отдают якоря. Расстояние до них порядка пятнадцати кабельтовых.

– Понял, – хрипло сказал командир и вытер пилоткой лицо.

«Всё ясно, – подумал Глеб, удивляясь своему спокойствию, – командир эсминца боится, что лодка взорвётся. Вот так: сам погибай, а товарища выручай! Закон моря, так иху мать...»

Минуло томительных три часа, к месту аварии подошли подводная лодка и базовый тральщик, их серые, будто размытые ветром, силуэты проступили в сутеми. Они шли прямиком на аварийную «малютку», но было уже поздно. Внезапно, потеряв продольную устойчивость с дифферентом на корму, лодка стала погружаться в море. Черная вода захлестнула рубку, схлынула, и сразу же послышался голос командира:

– Поддуть спасательные жилеты! Все за борт!

Карпеко не стал дожидаться очередной волны, сбросил ботинки, ухватился за край рубки и прыгнул в кипящее море. Нужно было отплыть подальше, а то затянет в водоворот. Он плыл кролем, как в былые времена на стометровку. Минут через пять ткнулся головой во что-то мягкое, поднял голову и увидел перепуганное лицо матроса. Тот хлебнул воды, протянул к Глебу руку и стал медленно погружаться, но механик всё же успел удержать его на плаву, выдернул пробку спасательного жилета и торопливо поддул его. Матрос отрубился, лицо его было испачкано соляром – не поймёшь кто. Остальное запомнилось плохо. Глеб, ухватив матроса за воротник, поплыл на спине, чутьём угадывая направление к пляшущему на волне тральщику. Силы гасли, матрос оказался тяжёлым, как залитая водой шлюпка. Последнее, что он увидел, – оранжевый спасательный круг, угодивший ему едва ли не в голову. Потом кругов стало много, они, вращаясь в воздухе, роились вокруг него, постепенно исчезая, потом стало совсем темно.

Очнулся он на узкой койке, тяжёлая шинель, которой его накрыли, ёрзала по нему, звёздочки на погонах царапали щеку. Он открыл глаза, над ним зависла незнакомая усатая физиономия.

– Оклемался, кацо? – спросил незнакомец. – Вот и ладненько. Глотни!

– Что это?

– Спиритус вини. Пей, согреешься.

– Ты кто?

– Гоги. Неужели не знаешь?

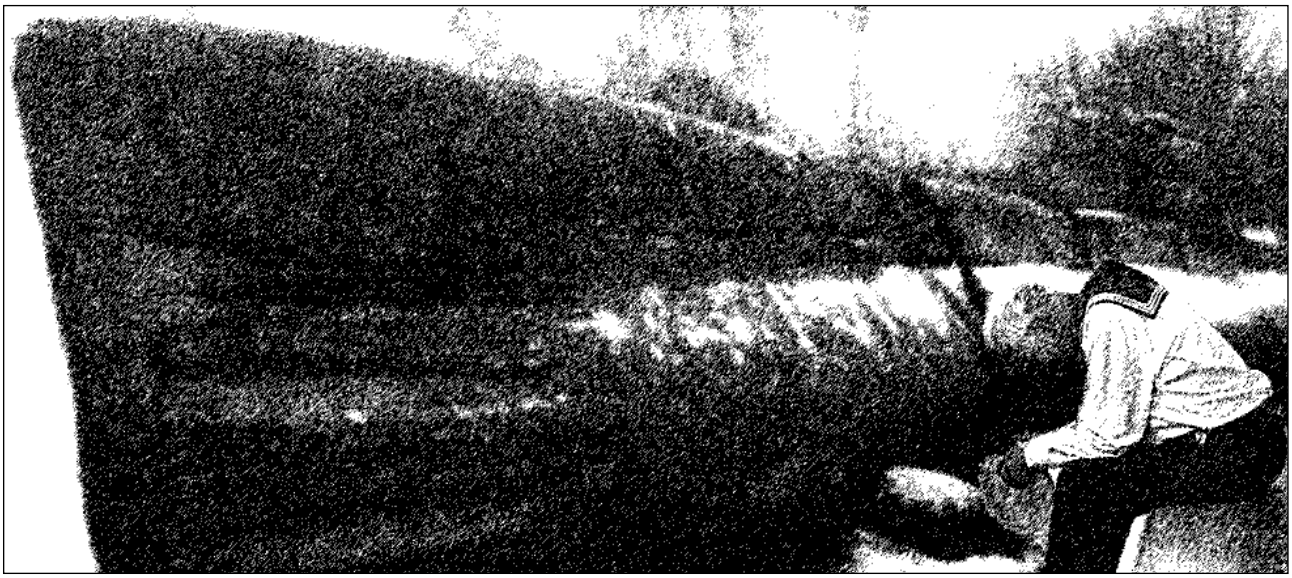
– Нет.

– Очень ты меня, дорогой, обидел. Все в Таллине знают Гоги, а ты не знаешь.

Уже в госпитале из разговоров удалось воссоздать картину гибели «малютки».

В 18 часов 48 минут лодка стала быстро погружаться. Моряки, те, кто был в ограждении рубки и на мостике, успели броситься в море, а те, кто был привязан шкертом к леерным ограждениям, так и ушли в воду. Лодка затонула на небольшой глубине. Первый водолаз, спустившийся для осмотра «зажигалки», угодил в психушку, увидев под водой моряков, стоящих на палубе. Как показалось водолазу, они приветственно махали ему руками. Командир был на своём месте, под козырьком мостика. Потом выяснилось: он привязал себя страховочным концом к перископу и не захотел покинуть корабль. Из тех моряков, кто оказался в воде, повезло немногим: спасательные средства сбросили неудачно, их снесло в сторону от гибнувших людей. Из тридцати трёх моряков удалось спасти только семерых.

Юрий ПАХОМОВ



ПО БЕРЕГУ САМОПОЗНАНИЯ

Инна РОСТОВЦЕВА

Варлам Шаламов. **Худ. Николай Калита**

В оккупированную сегодня писателями «область мемуаров и новелл» имя Варлама Шаламова попадает нечасто.

Страшно подступиться!

Страшно свидетельствовать о том, кто сам оставил о себе обжигающее правдой свидетельство – «Колымские рассказы».

Но это – проза. А её автор, не будем забывать, всю жизнь писал стихи. В 1968 году в письме к Станиславу Лесневскому он пророчески сказал: «Я думаю, что ещё вернусь к моим стихам». И действительно, после первой книги «Огниво», вышедшей в 1961 году, Шаламов успел подготовить ещё две – «Московские облака» (1972) и «Точка кипения» (1988). После смерти поэт продолжает возвращаться к нам стихами – к концу XX века выходят «Стихотворения» (1988 г.) и «Колымские тетради. Стихи» (1994), но затем зависает пауза.

Что за ней?

Владимир Стоянов точно угадал необходимость читателя по-новому услышать в новом XXI веке поэтическое слово Варлама Шаламова. Он издал, составил и перевёл сборник его стихов.

Варлам Шаламов. Лиловый мёд. Стихотворения. На русском и болгарском языках. Составитель и переводчик Владимир Стоянов. Славена, Варна, 2010 г.

И какая замечательная получилась книжка! С расположенных друг против друга обложек в середине книжного тела, по замыслу переводчика, «зеркально встречаются русский и болгарский варианты, подчинённые поминанию, что у каждого языка своё звуковое воздействие, которое нельзя нарушать параллельным чередованием оригинала и перевода». Название книги «Лиловый мёд» взято им у самого поэта. Оформление художника Христо Христова взято, возможно, у мифа, изображённый сосуд с мёдом напоминает арфу – «строки, как струны, настроены тревожно», – их настраивает, похоже, сама Муза. Редкие фотографии из Вологодского дома-музея Варлама Шаламова вкраплены, как карты, в конец книги, после обстоятельной, богатой свежими материалами (консультант Лидия Апискович) хроники жизни и творчества поэта.

Но и это не самое главное: книга живёт по-настоящему новым взглядом составителя. Владимир Стоянов не случайно назвал своё вступительное слово к изданию («Вместо предисловия») «Вечное сегодня», тем самым определив и свой выбор, и непреходящую ценность шаламовских стихов, то Вечное в них, что входит в наше сознание на правах современного...

Он предлагает нам прочесть поэта Шаламова без «хронологии» – дат написания того или иного стихотворения. Биографические сведения даются в конце книги, после корпуса стихов, состоящего из 3-х разделов, озаглавленных шаламовскими строчками: «Моя религия», «Я бросил перстень в облака» и «Последний райский гость». Думается, такой принцип подхода к шаламовской поэзии и неожидан, и своевременен: читателю пре-

доставляется возможность прочесть стихи Шаламова без подсказки-хронологии. Эта книга – не академическое издание, у неё другая цель и задачи – посмотреть на стихи как на стихи, свободно, увидеть поэзию, заключённую в них, – самостоятельно, непредвзято.

Выдерживают ли они, обожжённые адским пламенем ГУЛАГа и нечеловечески страшной судьбы, критерии художественности, высшую пробу той формулы МОМ (мысль – образ – музыка), которую вынес из схожей школы страданий его современник Николай Заболоцкий?

Или нам придётся делать уступки эстетическому вкусу, стыдливо отходящему в случае такой Судьбы и такой Биографии, на второй или третий план?

Скажем сразу – нет, не придётся.

Эстетически стихи Шаламова сохраняют свою живую причастность «высокой болезни» (Пастернак), тем основополагающим принципам, которые сформировались в русской поэзии её Серебряным веком. В упоминавшемся письме к Лесневскому (Ст. Лесневский. Вестник Серебряного века., «ЛГ», 2010 г., № 44) автор «Лилового мёда» делает важное признание: «Стихи всегда символичный и многозначный поэтический текст, допускающий много толкований, – технически страницы стиха могут восхищать...» И ещё: «... мои стихи не могли быть написаны без Белого, без Пастернака, без Анненского».

Два первых имени – Белого и Пастернака – не вызывают сомнения в том, что у этих поэтов действительно брались «уроки», – а Пастернаку Шаламов – сразу же после освобождения из лагеря в 1951 году – послал стихи и получил ответ...

Но вот Иннокентий Анненский, не «оставивший «тени», по замечанию Анны Ахматовой... Нет, оставил и, как это ни покажется парадоксальным, именно в шаламовской поэзии.

Эхо этой анненской строки: «Дрожат листы кустов – калек...» отчётливо улавливается в шаламовском стихотворении «Кусты разогнутся с придушенным стоном...», где природа ценой невероятного напряжения и страдальческого усилия сохраняет своё равновесие и почти человеческое достоинство.

Но ближе всего поэт подходит к Анненскому там, где вступает в область мучительного самопознания человека, который сам, на «границе совести» своей, совсем по-достоевски («Но что для нас теперь сияет мягким светом,// то было для него мучительным огнём») выносит себе собственный приговор:

Меня застрелят на границе,
Границе совести моей,
И кровь моя зальёт
страницы,
Что так тревожили друзей.

****

И чтоб короче были муки,
Чтоб умереть наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка.

«По берегу самопознания» стихотворение Шаламова движется символами, потому что для него, как и для Анненского, было всего «больнее увидать пустыми тайны слов...» А шифр к символам заключён в судьбе лирического героя.

И без подсказки хронологических дат и специальных комментариев отчётливо видно: перед нами не просто поэт – поэт Судьбы.

Именно Судьба поднявшегося из ада ГУЛАГа – немыслимые страдания и унижения – сформировали здесь ту особую словесную походку, которая присуща шаламовскому стиху.

Прежде всего – это твёрдая поступь строки, немногословие, обычно не более 3–4 катрена.

Это – выдержанность композиционных решений, цельность высказывания, где мысль ищет истину в открытой или сжатой форме: мерцает в глубине символа.

Абсолютно в классической традиции русской поэзии.

По убеждению поэта, высказанному в ряде стихотворений, в особенности 2-м разделе книги, необходимо разграничивать ремесло и мастерство; даже самое изощрённое мастерство поэта, включающее в себя наблюдения, «даже самые точные», и примесь «самой небывалой новизны», не в силах дать читателю «к горлу подступающих слёз» и «вызвать в мире взрывы тишины». И в поэзии судьбы, которую исповедует Шаламов, а исповедь у него нередко сочетается с проповедью, назиданием, особое значение придаётся жесту: «Нет, мне вовсе не нужен язык,// Мне для речи достаточно рук,// Выражать я руками привык// И смятенье, и гнев, и испуг».

Жесту учит природа – именно здесь рождается образ: «речь, как птица, сидит на руке, // Взмах ладони и смелый полёт...» И самое главное – «лгать нельзя на таком языке».

Лес пишет свою повесть о жизни – и она «без прикрас, без двусмысленных слов». Момент правды – в пластическом жесте языка – так же переживает поэт, пишущий свою жизнь.

Из особой терпкой горечи слов мы черпаем «лиловый мёд» стиха (название одноимённого стихотворения и образ), который, по точному определению Владимира Стоянова, есть «истинная солнечная энергия экзистенции творчества», и это для поэта «единственные спазмы бытия, источник радости, счастья и удовлетворённости. Но, чтобы дотронуться до «лилового мёда», являющегося синонимом воскрешающей и очищающей крови, поэту нужно «выстроить свою религию и быть готовым защищать её до последнего дыхания».

Так оно и есть.

Религия Шаламова глубоко личностна: это – «моя религия. Моё нравственное чувство. Оно несёт в себе благодарность миру за то, что существует извечная красота природы («средневековье заоблачных, как церкви, гор»), доброта птиц («добрые глаза совы») и зверей:

Лицом к молящемуся миру
Гора выходит на амвон.
Пред этим каменным
потиром
Земной отвешу я поклон.
Река отталкивает гору,
И веет запах снеговой,
И переполнены озёра
Святой водою дождевой...

Перед лицом природы человек Шаламова ощущает себя не должником вселенной, как у Пастернака; человек его судьбы здесь, в мире природы, не просто коленопреклонённый человек. Это – то место, где ему «кажется» (какая многозначительная оговорка!), что он мог бы помириться с Богом и молиться о спасении и помощи:

А я – я – тут же, на коленях,
Я с Богом, кажется, мирюсь.
На мокрых каменных
ступенях
Я о спасении молюсь.

Спасение – не только личное, для себя; у нас всех – возвращение понимания утраченной нормы жизни, которая не исключила бы понятия независимости и свободы: «И мы поймём, шагнув поля,// На острова и поймы,// Как независима земля// И как она покойна».

Такие признания в другой поэзии показались бы идиллически-сентиментальными, но в шаламовской – они сплошь и рядом контрастируют с признаниями иного рода, и этот странный контраст, разрыв, обжигая правдой, не даёт возможности забыть о той цене, которую человек, получивший судьбу з/ка, заплатил за «сказку» построения социализма в одной, отдельно взятой стране:

Отвали этот камень серый,
Загораживающий путь,
И войди в глубину пещеры
На страданья мои
взглянуть.
Ржавой цепью к скале
прикован
И похожий на мертвеца.
Этой боли многовековой
Не предвидится и конца.
Наши судьбы – простые
маски
Той единой, большой судьбы,
Сказки той, что,
боясь огласки,
Приковали к скале рабы.

В таким образом составленной Стояновым книге Шаламова не исчезают ни наша общая трагическая Память, ни оценка поэтом себя и подведение итогов жизни.

«Где жизнь?», «Что прошлое?», «Что будущее?», «А настоящее?» – вот те последние вопросы, ответ на которые вместе с автором «Колымских рассказов» ищет читатель. «Схвати его, попробуй...»! Ответ неожидан и дается не впрямую, а на символическом языке: «Беги, пока не износилась обувь// И не закрались торные пути». Человек должен сам торить свой путь и Судьбу через движение и опыт. Если хочет овладеть своею современностью.

Из своих современников-поэтов Шаламов отдавал предпочтения Асееву («я входил в его порт звуковой») и Пастернаку – ему посвящено пронзительное стихотворение «От кухни и передней// По самый горизонт// Идёт ремонт последний,// Последний мой ремонт», полное горестных предчувствий, в которое вписан, точнее, вделан, собственный поздний автопортрет: «И плотничьи заплаты// На рубище певца –// Свидетельство расплаты// С судьбою до конца».

Сам Шаламов оставался поэтом – строителем своей «архитектуры» – «от шкуры и нутра»: зримость образа и смысла; рифмы – традиционны, порой, с нынешней точки зрения, просты и банальны, но это – признак подлинного таланта говорить о глубоком – ясно и просто. «Здесь всё, как в Библии, простое –// Сырая глина, ил и грязь,// Здесь умереть, пожалуй, стоит,// Навек скульптурой становясь». Какова мера! Высшая, библейская – ведь, по словам поэта, от «точности измерения зависит и жизнь сама».

А неподкупность меры – «стиха невозмутима мера...» – для него основное условие правдивости и художественного совершенства Мастера – от гончара до Гомера.

...Шаламов в этой книге много размышляет о последнем стихотворении, о судьбе стихов и архива.

Думает о будущем
своей поэзии.
От солнца рукою глаза
затеняя,
Седые поэты читают
меня...

Это сказано не только о настоящем – о тех «седых поэтах», кто читал его при жизни (Асеев, Пастернак), но ещё больше – о будущих.

Шаламов считал: поэзия – дело седых, израненных жизнью мужчин, а не юношей со взором горящим, и горько тревожился, смогут ли новые поколения молодых поэтов прочесть его стихи так, как прочитала Судьба.

Ошибался ли он? Хочется верить, да.

Ведь вышедший в посмертной жизни «Лиловый мёд» – собранный на русском и переведённый на болгарский язык поэтом нового поколения Владимиром Стояновым, лишний раз свидетельствует о том, что и в своей поэзии, не только в прозе, Шаламов сумел найти и воплотить такие вечные смыслы и объёмы, которые резонируют во все «концы света», рождая общечеловеческое эхо.

Стихотворение не только «тихотворение», но этого Шаламов уже предвидеть не мог...

БЕРИНГОВ ПРОЛИВ

Владимир ТИМАКОВ

1

Когда дует западный ветер, небо становится пепельно-серым. Но Дик любит этот пепельно-серый цвет – мягкий, как облака, застилающие горизонт. Западный ветер уносит жгучую морозную синеву, поэтому серое небо кажется тёплым и ласковым. А самое главное – в такую погоду не летают геликоптеры. Точнее, иногда они всё-таки летают, но в низкой пушистой дымке пилоты не видят дальше собственного носа. Когда небо становится серым, Дик и Дэдди могут отправиться в разведку.

Они играют в скаутов посреди зарослей чёрной ели, и в купинах буша на дальнем лугу, и на горном отроге, поросшем белостовольной бетулой. На Дике пушистая «инуитка», которую обычно носит Мамми. В прошлом году Дик стал одинакового с ней роста, и никому даже в голову не придёт, что вместе с Дэдди по склонам бегает именно он. Со стороны кажется, что это резвятся Мамми и Дэдди.

Сегодня у них необычная цель. Дэд поведёт его к расщелине Кандаклуут за Медвежьей горой. Там можно поймать сеть Рабского Захолустья. В принципе, в сеть Рабского Захолустья можно выйти из любой точки планеты: из ангара, с чердака, из подвала дома, где живёт Дик, и даже из продуктовой лавки городка Ном. Вот только делать этого нельзя. Билль о Достоинстве запрещает пользоваться каналами информации, унижающими личность. Исполнение этого билля строго контролируется сетевыми фильтрами. Расщелина Кандаклуут – одно из немногих мест в Пространстве Свободы, где сетевые фильтры не работают. Собственно, они там и не нужны, так как северные олени и лемминги – законопослушные существа и никогда не нарушают Билль о Достоинстве.

Когда Дэдди настроил вайфай, мальчик просто сгорал от любопытства. Заглянуть в Рабское Захолустье куда интереснее, чем подсматривать за визитом налогового инспектора в щёлку чердака. В сети все постят, что Захолустье – проклятая земля, населённая архаичными тварями, а Дэд утверждает, что народ там ничуть не хуже обитателей Свободного Пространства. Но самое главное – с ними можно общаться. Можно писать электронные письма, обмениваться фотографиями и даже разговаривать в прямом эфире!

За всю свою жизнь Дик общался только с Дэдди и Мамми. Выходить на связь с другими гражданами Свободного Пространства, показываться им на глаза – да что там показываться! – просто оставлять следы своего присутствия в мире – было для него непозволительной роско-

шью. Дик являлся иллегалом, не учтённым ни в одном бюро. Если кто-то узнает о существовании мальчика, приставы немедленно разлучат его с Дэдди и Мамми. Но сколько же лет можно прятаться? Сколько можно молчать?! Дик будет рад общению даже с самыми распоследними архаичными тварями, лишь бы только понимать их язык...

2

В первый миг Дик опешил: на экране появилось странное, сидящее в тени ветвей существо. Какие они там волосатые и голые в Рабском захолустье, впрямь троглодиты из каменного века! Длинные золотисто-рыжие пряди, которых, наверное, никогда не касалась магнитная бритва, падали существу прямо на плечи. То, что пряди у основания были прямые, а на концах завивались мелкими кольцами, заставляло предположить, что далёкое визави вовсе не ведает о существовании расчёски. Его единственным одеянием было лёгкое подобие удлинённой рубашки, охваченной пояском, а непривычно обнажённые руки и ноги торчали наружу, отливая бронзовым первобытным загаром. Ногти на пальцах рук не были коротко острижены, как велят гигиенические инструкции, а удлинялись наподобие маленьких речных раковин.

Но удивительное дело – это дикое создание вовсе не производило отталкивающего впечатления. Наоборот, Дик почувствовал действие неведомой магнетической силы. Всё: и невыбритые золотистые пряди, и опалённые солнцем голые плечи, и тонкие кисти с ногтями-раковинками – ему явно нравилось. Но самыми удивительными у творения чужой природы были глаза – серые и тёплые, как небо в день западного ветра.

– Хэлло! – речь из уст дикарки неожиданно оказалась понятной. – Ай эм Льуда фром Раша. А ю фром Спейс оф Фридом?

– Это девочка. Льуда – её имя. Раша – самый крупный сегмент Рабского захолустья, – пояснял наблюдающий со стороны Дэд.

Девочка? Дик никогда раньше не задумывался, что такое девочка и чем она может отличаться от мальчика. Он знал, что только у животных есть самцы и самки, а все личности равны, одинаковы. Но, может быть, в Рабском захолустье недалеко ушли от животных? Впрочем, во всём этом он ещё успеет разобраться.

– Ай лив ин Хабаровск уиз май фазе энд мазе, – продолжала девочка Льуда в ответ на оторопелый кивок Дика,– Ай'в гот ту бразес энд систе. Энд вот эбаут ю?

Пришла пора Дику в свою очередь поведать о том, что он живёт в домике со своими домашними питомцами: ручной выдрой и свиристелями, а также имеет два комплекта сноуслиперов и один минителескоп. Кто такие «бразес энд систез» он представления не имел.

Но больше всего удивило Дика бесцеремонное заявление собеседницы, что Дэд – это его «фазе», а Мамми – его «мазе». Таких слов в языке Свободного пространства вовсе не существовало, как и странного слова «фэмили». Дэдди, Мамми и Дик просто живут вместе – вот и всё. Что тут ещё выдумывать! И зачем она лезет со своими туземными терминами? Может, это и есть унижение личности, из-за которого связь с Захолустьем строго запрещена?

И всё же, несмотря на подозрительные иносказания, Дику вовсе не хотелось прекращать сеанс. Каждое движение далёкой дикарки, каждая сдержанная улыбка, каждый удивлённый взгляд, каждое запальчивое движение губ пробуждали в душе мальчика неведомый прежде жар, от которого пламенеют щёки и согревается сердце.

3

Виртуальное путешествие перевернуло все мысли Дика. Чужой мир манил, ошеломлял, ставил неразрешимые загадки. Странно, почему эта Ль-уд-а и её соплеменники так похожи на отцов-пилигримов? Те же бледные лица и золотистые волосы, словно жители Захолустья сошли со старинных гравюр Новой Англии. В сетях Свободного пространства таких лиц не найти. Может быть, отцы-пилигримы основали вовсе не Свободное пространство, а Рабское захолустье? Может, историки всё перепутали?

– Видишь, в чём дело, – пояснил Дэд, – наши сограждане изменили свой облик ещё в прошлом веке, поскольку внутрирасовые браки на Свободном пространстве были запрещены. Билль о Равенстве, артикул восемнадцать. Светлые не могли брать в супруги светлых, смуглые – смуглых, краснокожие – краснокожих. Все смешались и стали одинаковыми, чтобы никто не думал, что он чем-то хуже другого.

– А что такое брак, Дэд? Что значит супруги?

Дэд остановился. Ссутулился. Медленно прислонился к корявому стволу полярной бетулы.

– Прости меня, Дик. Мне надо было тебе кое-что рассказать, прежде чем звать на такой необычный сеанс связи. Но мне самому не терпелось заглянуть в это самое Захолустье. Меня подвело любопытство, прости.

Дэд ещё мгновение колебался, затем собрался с духом и выложил:

– Брак – это то, что связывает животных. И то, что прежде связывало первобытных дикарей. Мы с Мамми тоже живём в браке. Мы с ней – самец и самка, Дик.

– Разве такое бывает?

– Действительно, теперь это редкий случай. Потому что мы традиционалы. Половое меньшинство, которое легализовано только в нескольких муниципалитетах Аляски, и ещё, кажется, в Вермонте.

В принципе, свободная личность имеет право выби-

рать любую форму связи с другой личностью. Но считается, что традиционная связь пробуждает животный инстинкт. Этот инстинкт очень силён, и если его не подавлять, то традиционалами станут все. У личностей не останется выбора, не останется свободы. Поэтому животный инстинкт традиционной связи запрещён Биллем о Конкуренции. Все современные формы свободно перетекают одна в другую, личность может менять свой выбор хоть каждый день, а традиционалы на всю жизнь остаются: либо – самцом, либо – самкой.

– Ты думаешь, это плохо?

– Нет, не думаю. Так гласит Билль о Конкуренции, только и всего. А я очень-очень рад, что всю жизнь жил в браке с нашей Мамми. И ещё я рад, что у нас есть ты, Дик. Потому что ты – наш сын. А я твой отец. Понимаешь, отец!!! Они, в Захолустье, знают, что это такое... Ты не знал, а они знают. И я знаю. Я хочу навсегда остаться твоим отцом и не желаю, чтобы это когда-нибудь поменялось.

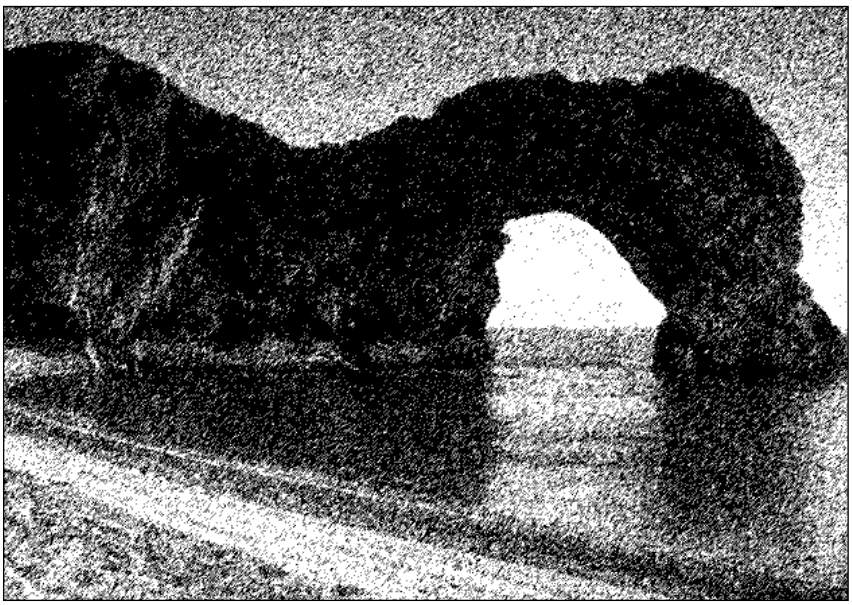
Дик вздрогнул. Он никогда не видел, чтобы по щекам Дэда текли влажные капли. В каком-то медицинском ролике говорилось, что такие капли – признак архаичной, неустойчивой психики. Личности, которые допускают подобные выходки, подлежат обструкции. Но Дику вовсе не хотелось отстраняться от Дэдди. Наоборот, в порыве нежности он прильнул к папе, прижался лбом к влажному от слёз лицу. «Father» – слетело с губ новое слово, впервые услышанное от сероглазой чужеземки.

4

Ночью Дику не спалось – он думал о Люде. Неужели они все такие красивые в их далёком заповедном углу? Мальчик испытывал странный восторг, для которого в прежнем языке не хватало слов. Красивая как... таймень в весеннем наряде? Как цветущий букет пёстрой киски? Как переливы полярного сияния? Нет, всё не то!

Дик представил, как хорошо бы коснуться загорелой руки Люды, медленно провести ладонью от ямочки в локтевой впадине до тонких пальчиков с ногтями-ракушечками. Сердце защемило так, как щемило в далёком детстве, когда Дик спросонья плакал, и его ладошку в темноте находила ласковая рука Мамми. Только теперь Дику самому хотелось быть большим и сильным и утешать Люду, если она вдруг чего-то испугается.

Боже, ещё четыре недели! Дэд сказал, что расщелина Кандаклуут недоступна для сетевых фильтров только раз в четыре недели – это связано с фазами Луны. В другое время выходить на связь опасно. Придётся целых четыре недели ждать, чтобы снова увидеть, как Люда щурится и морщит нос, когда собирается рассмеяться, чтобы снова услышать её весёлый голос. Отныне жизнь Дика будет расписана, как у допотопных поклонников культа Луны, – раз в четыре недели он готовится к великому празднику.



5

Раньше Дик думал, что Дэд, Мамми и некоторые их знакомые, обломки средневековой секты Крисчианс, – это редкие мутанты-альбиносы. Оказалось, что в Раше (на своём родном языке Ль-уд-а говорит «Ро-сий-а») к секте Крисчианс принадлежит больше половины граждан. И почти все они светлолицые альбиносы. Почти все живут в браке, как Дэд и Мамми. Почти все растят собственное потомство сами, а не отдают в Воспитательный рай. Детей вовсе не приходится прятать на чердаках от инспекторов и соседей, как родители прячут Дика. Мальчикам разрешается без присмотра гулять по улицам и паркам и даже знакомиться с девочками. Девочки не обязаны быть похожими на мальчиков, им дозволено отпускать длинные волосы, носить юбки и платья. Мужчины имеют право улыбаться и говорить комплименты встречным женщинам. На публике не запрещено выражать свои чувства, смеяться или плакать. Никого не оскорбляет, если мужчина предлагает женщине помощь. Там можно много того, что нельзя у нас. Почему же тогда Раша считается Рабским захолустьем, а страна Дика – Свободным пространством?

«Потому что никакие животные инстинкты не должны мешать свободному самоопределению. Ни семья, ни воспитание, ни медицина, ни одежда не должны навязы-

вать личности её пол». Так гласят Билль о свободе, Билль о равенстве и Антимонопольная хартия. Но какие инстинкты заставляют личность по пятнадцать раз в году менять свой свободный выбор? Уж явно не разум и не соображения морали. Почему тогда естественные желания должны тщательно искореняться в угоду этим загадочным «неживотным» инстинктам?

Нет, Дик никогда не смирится с предписаниями биллей и хартий! Все они, вместе взятые, не стоят одного взгляда прищуренных серых глаз.

6

«Дорогой сын!

Сожалею, но нас рассекретили. Доказательства того, что ты жил в нашем доме, собраны. Улики неопровержимы. Не ищи нас с Мамми, мы больше не сможем встретиться.

Не бойся, нас не убьют и не посадят в изолятор. В Свободном пространстве не наказывают преступников – всего лишь лечат. Меня вылечат от того, что я – мужчина, а Мамми от того, что она – женщина. Исцелят от способности иметь детей. Очистят нашу память: сотрут все воспоминания о браке и о тебе. Сделают пластику лиц, чтобы никто из прежних знакомых не напомнил о прошлом позоре. Короче, дадут возможность начать новую жизнь в старых телах. После операции я не узнаю тебя и Мамми, а вы не узнаете меня.

Это не больно, но для меня такой приговор хуже, чем казнь инквизиции. Потому что инквизиторы убивали тело, а юстиционные хирурги убивают душу. И всё же я не жалею, что мы не отдали тебя в Воспитательный рай. Пятнадцать лет с тобой были самым прекрасным временем для меня и для Мамми. Никто в Свободном пространстве не знает такого счастья.

Я желаю, чтобы ты тоже был счастлив. Пусть у тебя будет такая же любимая женщина, как моя Мамми, и пусть у вас родится такой же замечательный сын. Научи его всему, чему я учил тебя, Дик. Научи ловить тайменя, играть в скаутов, одолевать горы на сноуслиперах, отыскивать кольца Сатурна в телескоп.

У тебя есть один шанс – уйти за пределы Свободного пространства, в Рашу. На северо-западе, за сто миль отсюда, есть пролив, который разделяет наши страны. Ты тренированный парень, ты сможешь перейти его за три дня. Только это надо сделать в середине осени, потому что раньше лёд очень тонок, а позже он сгрудится в непроходимые торосы. Мы с Мамми уже давно продумали маршрут, но не хотели рисковать, пока ты был мал. А потом... привыкли к удачной конспирации.

Риск заплутать в торосах или провалиться в полынью очень велик. Будь осторожен! Да ещё небо утюжат «голубые подштанники» на геликоптерах. Поэтому выбери для перехода туманный облачный день. Если тебя разыщут – сотрут память и о нас с Мамми, и о нашем доме, и о девочке Льу-да. Я знаю, ты её любишь. Любовь даёт великие силы, сынок. Верь, что ты найдёшь её в Раше – и иди.

Не забывай нас.

Твой папа».

7

Его засекли вечером третьего дня, когда сменился ветер и серый пух облаков уступил место стеклянной морозной синеве. Геликоптеры долго кружили над мозаикой торосов и трещин, выбирая место для посадки. Наконец высмотрели, спикировали, стали высаживать группу захвата. Дик несколько мгновений наблюдал, как долговязые фигуры в ультрамариновых комбинезонах плюхаются в белое крошево. Потом отвернулся, сжал зубы и побежал.

Левее, левее! Туда, где полыньи! Дик бежал и верил, что лёд выдержит его сумасшедший бег, что ломкое кружево наста не расступится под ним, а гончие не посмеют сунуться на зыбкий, дрожащий под ногами припай.

Он почти уже не бежал, а летел, рассекая плотные струи ветра, – летел вдогонку уходящему солнцу, которое алыми штрихами обрисовало далёкий мыс Дежнёва. За спиной чёрной грудой сгущался мрак и трещали хлопушки сигнальных ракет, а впереди закатным фейерверком салютовала Дику загадочная Россия.

Там его ждёт сероглазая
девочка Ль-уд-а.
И другие, такие же как она,
Ль-удь-и,
что на его родном языке
означает, кажется,
human beings.